

НОВЫЙ МИР

1

МОСКВА

1943

Н О В Ы Й М И Р

Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Москва, 1943 г.

№ 1

Год издания XX

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Алексей Сурков — Стихи	3
С. Сергеев-Ценский — Брусиловский прорыв, исторический роман в 2-х частях. Часть II	7
С. Маршак — 21 января 1943 года, стихотворение	45
Владимир Козин — Горы и ночь, рассказ	46
Борис Лавренёв — Чайная роза, рассказ	60
Е. Шевелёва — Стихотворения	66
Вадим Кожевников — Три рассказа	67
П. Бажов — Уральские сказы о немцах	74
Вл. И. Немирович-Данченко — Первые театральные воспоминания	85
— — — — —	
К 60-летию со дня рождения А. Н. Толстого	105
Алексей Толстой — Мой путь	106
Творчество А. Н. Толстого (краткая библиография)	109
— — — — —	
А. Замошкин — Советская живопись в дни войны	111
С. Я. Штрайх — Гениальный русский учёный В. О. Ковалевский	118
— — — — —	

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

М. Добрынин — О «Родине»	124
М. Эссен — «Малахитовая шкатулка»	126

СТИХИ

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

ВОЕННАЯ ОСЕНЬ

1.

Над умытым росой кирпичом
Клонит горькие грозди калина.
Неизвестно, о ком и о чём
На закате грустит мандолина.

То ли просто в ней звон камыша,
То ли скорбь по недавней утрате.
Всё равно. Потеплела душа,
Подпевая струне на закате.

И грустя, и скорбя, и любя,
И томясь ожиданьем в разлуке,
Сердце ищет и слышит себя
В мимолётном серебряном звуке.

2.

Трассой пулемётной и ракетой
Облака рассечены в ночи.
Спи ты, не ворочайся, не сетуй
И по-стариковски не ворчи.

С юности мечтали мы о мире,
О спокойном часе тишины.
А судьба подбросила четыре
Долгих, изнурительных войны.

Стало бытом и вошло в привычку —
По полёту различать снаряд,
После боя, встав на перекличку,
Заполнять за друга полый ряд.

Скорбь утрат, усталость, боль
разлуки,
Сердце обжигающую злость —

Всё мы испытали. Только скуки
В жизни испытать не довелось.

3.

На нашу долю выпал трудный век.
Железом выжжены рождений наших
даты.

С пелёнок привыкает человек
К своей грядущей участи солдата.

Горячий ветер войн шумит над ним.
И он, сквозь время, хищное такое,
Идёт, от одичания храним
Мечтой о мире, братстве и покое.

Таков удел. С железом подружись.
Созреет утро в чёрных клубах дыма.
Ведь мы, и умирая, славим жизнь,
А жизнь бессмертна и непобедима.

4.

И опять на заре померещились мне
В нимбах зарев ночных города.
Трупы танков и пушек... Даже во сне
От войны не уйти никуда.

Даже к самым глухим, заповедным
местам,

Где незывлем покой голубой,
Эта страшная гостья, как тень,
по пятам,
Неотступно идёт за тобой.

Помню — лёг мой товарищ под старую
ель,

Сенью веток от зноя храним,
И уснул, утомлённый дорогой. И шмель
Зажужжал, пролетая над ним.

То ли гул самолётов почудился вдруг,
То ли звонко свистящий снаряд.

Исподлобья с тоской озираясь
вокруг,
С криком с места сорвался солдат.

Этот взгляд, этот, криком разорванный,
рот

Будет долго мерещиться мне.
После мира не скоро окопный народ
Безмятежно уснёт в тишине.

5.

Луна висит над опалённым садом.
В ночном тумане тает синий дым.
Рассвет не скоро. Сядь на бурку рядом,
Поговорим. На звёзды поглядим.

Здесь, у костра, не скрыть ночному
мраку

Границ, отбитых разницею лет.
Когда я первый раз ходил в атаку,
Ты первый раз взглянул на белый свет.

Своей дорогой шёл сквозь годы
каждый,

Мечтая счастье общее найти,
Но буря к нам нагрянула однажды,
Слила в одну дорогу все пути.

Тем знойным летом, слыша танков
топот,

Мы побратались возрастом в бою,
Помножив мой сорокалетний опыт
На взрывчатую молодость твою.

Когда пробьёт урочный час расплаты,
На запад схлынет чёрная беда,
В высоком звании старого солдата
Сольются наши жизни навсегда.

Испытанные пулей и снарядом,
Виски свои украсив серебром,
Мы на пиру победы сядем рядом,
Как в эту ночь сидели над костром.

6.

Видно, выписал писарь мне дальний
билет,

Отправляя впервой на войну.

На четвёртой войне с восемнадцатью
лет

Я солдатскую ляжку тяну.

Череда лихолетий текла надо мной,
От полночных пожаров красна.
Не видал я, как юность прошла
стороной,

Как легла на виски седина.

И от пуль невредим, и огнём не палим,
Прохожу я по кромке огня.
Видно, мать непомерным страданьем
своим

Откупила у смерти меня.

Испытало нас время свинцом и огнём.
Стали нервы железу подстать.
Победим. И вернёмся. И радость
вернём.

Будет время всё наверстать.

Неспроста к нам приходят неясные сны
Про счастливый и солнечный край.
После долгих ненастий недружной весны
Ждёт и нас ослепительный май.

7.

Сторожко приникая к чёрным зданьям,
Проходит по руинам тишина.
Глухая к человеческим страданьям,
Плывёт меж звёзд холодная луна.

В воронках на ночь залегли секреты.
Сапёры мост наводят на реке.
Зелёные немецкие ракеты,
Качаясь, догорают вдалеке.

Потрясены спокойствием вселенной
И слушая беззвучный звёздный хор,
Мы шопотом заводим сокровенный,
Взволнованный, сердечный разговор.

Не сетуя, не злясь на жребий лютый,
Припомнив близких, тёплое жильё,
Мы верим в эти краткие минуты
И в счастье, и в бессмертие своё.

8.

Угольками стреляют поленья.
По кустам выгибается дым.
Семь солдат одного поколения,
Мы на тёмной поляне сидим.

Мстя за муки донской земли,
Белым шагом идёт пехота.

Люди помнят — в дыму седом,
У заснеженного колодца,
Сад, возвращённый нашим трудом,
Наш, врагом осквернённый, дом
Ждёт хозяина, не дожждётся.

Каждый хутор в степной глуши
Простонал материнским стоном.
Ветер в уши трубит: — Спешите.
— Поспешите, — шумят камыши
Над закованным льдами Доном.

3. ВДОГОНКУ

Истоптанные танками снега.
Воронки. Гарь. Неубранные трупы.
В пустую степь, как в исполинский
рупор,
Свирепо дует первая пурга.

Северо-западнее Сталинграда XI. 1942.

От этих мест, в обгон ветров и вьюг,
Укутав в дым береговые склоны,
За танками спешили батальоны,
Торя пути на запад и на юг.

Сегодня здесь уже армейский тыл.
Расчищен путь хозяйскими руками,
На переправе, под грузовиками,
Воркует новый мостовой настил.

Пушатся белым инеем штыки.
Под сенью их, к сраженьям и победам,
За уходящей канонадой следом
Торопятся резервные полки.

Ударит ввысь фугаски взрыв тупой.
Метнутся с ветел галки чёрным роем.
По грейдеру, на север, под конвоем,
Бредут понуро пленники толпой.

Пушинки белой, снежной кутерьмы
Слепят глаза и тают на петлицах.
Улыбками написано на лицах:
— Тут наш черёд. Тут наступаем мы.

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ

Исторический роман в 2-х частях

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

✱

Часть II. ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО*

Глава первая РЕЧКА ПЛЯШЕВКА I

1.

Художники-пейзажисты любят изображать такие речки, мирно синееющие летом в зелёных долинах.

В древности, когда кругом дыбились неисхоженные леса, это были, конечно, величавые реки. Теперь они становятся такими только в весеннее половодье, когда, жёлтые, мутные, озорные, разгульные, ломают они мосты, тащат на себе бурелом, заносят камнями, песком и илом луга и огороды.

Летом они задумчивы; летом они бьют мелки, узки, то тут, то там оставляя свою воду в озёрах и болотах.

Болота топкие; озёра невелики и поблёскивают таинственно только в середине, густо зарастая белыми кувшинками, жёлтыми купавами, камышом и рогозой. Над ними пронзительно плачут, косо взлетая, хохлатые чибицы; сюда прилетают кормиться аисты, которым на крыши хат кладут старые колёса, удобные, как основа их незатейливых гнёзд. Здесь, в гущине осоки, плодятся втихомолку водяные курочки с жёлтыми лапками и чирки; здесь вопит, как молодой бык, серая выпь — птица, так умеющая прятаться от людей, что её редко кто видел за всю свою жизнь.

Летом в долине таких речек звенят весёлые косы, а потом гордо стоят кру-

тобокые стога сена. Кое-где утлая лодочка с дырявым дном валяется на берегу. Возле неё бегают бойкие кулики; на неё, то-и-дело срываясь, упрямо взбираются лягушки и заводят по вечерам свои концерты.

Такая речка, именуемая Пляшевкой, разделяла в 1916 году, в конце мая — в начале июня, несколько корпусов войск двух армий: русской одиннадцатой, которой командовал генерал от инфантерии Сахаров, и разбитой уже до того первой австро-германской, бывшей под командой генерала Пухалло.

Долина реки была широка. Одна за другой тянулись по ней украинские деревни. По обеим сторонам её подымались холмы, покрытые лесом. Холмы эти местами были прорезаны глубокими балками с крутыми спусками

Линия железной дороги шла от Ровно через Дубно на Радзивиллов и Броды. Дамба тянулась через долину, и железные фермы моста висели над речкой бессильным кружевом, так как мост был наполовину взорван поспешно отступавшим противником. Взорваны были также и деревянные мосты: этому не успели помешать части семнадцатого корпуса, хотя и выбившие австро-германцев из их позиций, объявленных неприступными, но и сами при этом в большой степени обессиленные боями.

На помощь этому корпусу, чтобы развить наступление, Брусилов приказал перекинуть из соседней восьмой армии 32-й корпус, состоящий из двух опол-

* Часть I «Бурная весна» напечатана в журнале «Новый мир» №№ 8, 9, 10 за 1942 г.

ченских дивизий — 101-й и 105-й, — и обе дивизии пришли и заняли отведённые им места. Южнее, вплотную к семнадцатому корпусу, стала 101-я, севернее — 105-я. Кроме них, подошла и расположилась у них в тылу Заамурская конная дивизия, назначенная преследовать отступающего противника, когда фронт его будет прорван пехотой.

Тучи над австро-германцами сгустились 31 мая; гроза должна была разразиться 2 (15) июня, и накануне боя — 1 июня — в русском лагере все были возбуждены предстоящим, все были в горячке усиленной и срочной подготовки к бою, все пристально вглядывались и в капризные изгибы речки, и в яркую зелень долины на той стороне, и в притаившиеся за долиной холмы, в глубине которых тянулись позиции врага, пока совершенно тихие, как-будто их там и нет и никогда не было.

Никто ни о чём не знал, и со штабом 3-й дивизии из семнадцатого корпуса то сносились по телефону, то посылали туда адъютантов и ординарцев с запросами, так как дивизия эта стояла тут, на берегу Пляшевки, уже с неделю и, понятно, должна была знать многое о противнике и о всех подступах к нему.

— Конечно, наше дело маленькое, — говорил начальник 101-й дивизии генерал-лейтенант Гильчевский, — мы, по предписанию свыше, должны только содействовать семнадцатому корпусу, — содействовать, да-с, а действовать предназначено ему, — ему, стало быть, и карты в руки, но раз нам отведён участок для атаки в шесть вёрст длиной, значит, от нас то-оже потребуют действий!

Он подмигивал светлыми, с лёгким прищуром, пятидесятилетними глазами, много начальства видевшими на своём веку, обращаясь так к своему начальнику штаба, полковнику Протозанову. И тот, хотя и мало спавший в ночь перед этим, но, как обычно, свежий, крепкий, подтянутый, отозвался на слова генерала:

— Не пришлось бы только нам раньше наступать, чем третья дивизия

соберётся: там что-то тяжёлы на подъём, насколько успел я заметить.

— Полки у них слабые, говорят, — подхватил Гильчевский. — А у нас какие? Разве мы получили пополнение после двух наших побед? А мы ведь тоже не в лапту с мадьярами играли.

Крупное, но не успевшее ещё отяжелеть тело Гильчевского заметно для привыкшего к нему Протозанова всё напрягалось, когда он вглядывался в отведённый ему участок, точно вбирая его в себя, и густые, серые, казачьего склада, концами вылиз, усы его шевелились при этом так, точно он, закрыв рот, жевал что-то.

— От деревни Пасеки до деревни Гранавки, — поводя своим цейсом перед глазами, раза три повторил Гильчевский, продолжая вглядываться в отведённый ему участок — порядочный кусок, должен я сказать... Не случилось бы вроде того, что прошлой ночью...

Предыдущую ночь дивизия провела в походе и, когда попала в довольно большой лес и была там остановлена на отдых, поддалась панике, совершенно необъяснимой для самого Гильчевского, так как после двух удачно проведённых боёв она завоевала репутацию ударной. Сюда, в чужую армию, она была переведена, в составе всего корпуса, только затем, чтобы выправить положение, выпрямить западающую здесь линию фронта.

Гильчевский был ещё под свежим впечатлением того, что случилось ночью.

Очень беспокойной оказалась эта ночь. Даже сквозь довольно густой лес было заметно сплошное широкое багровое зарево пожаров, а с высоких деревьев, на которые взобрались разведчики, различалось несколько дружно горевших деревень, очевидно подожжённых противником.

Дивизия передвигалась в спешном порядке, выслав вперёд только небольшие разведды, так как в распоряжении Гильчевского была всего лишь одна ополченская конная сотня. Эти разведды, как узнал он только потом, столкнулись с разведками австрийцев, наблюдавших за движением дивизии, но от

корпуса, к которому на помощь она шла, никого для встречи выслано не было.

На отдых после двадцативёрстного марша дивизия расположилась на обширной поляне в том порядке, в каком двигалась, — вся артиллерия и обоз первого разряда находились между полками, и во все стороны высланы дозоры. Однако один из бригадных, сам по себе исправный службист и вполне здравомыслящий генерал-майор, — правда, человек уже почтенный, за шестьдесят, и призванный из отставки, — распорядился почему-то подтянуть к самому биваку эти дозоры, так что дивизия осталась ночью в лесу без глаз и ушей.

Желая сам посмотреть на пожары, чтобы разгадать замысел противника, Гильчевский со штабом — верхом, как он привык, выбрался на место, откуда они были хорошо видны. По светящимся ракетам, которые имели обыкновение пускать по ночам австрийцы перед своими окопами, можно было определить, что горели деревни впереди их позиций. Безошибочно можно было сказать, что этими пожарами противник расчищает пространство перед собою. Однако ночью в незнакомой местности трудно было решить, на каком именно участке готовятся к предстоящему бою враги: для 32-го корпуса предназначается этот участок, или против него стоит 17-й корпус?

Гильчевский ещё только высказывал слух свои догадки по этому поводу и выслушивал мнения штабных, когда неожиданно возникла яркая в темноте лучшая пальба, а затем стрекотанье пулемёта и свист пуль послышались рядом.

— Эге-ге-ге! Вот так черт! — крикнул Гильчевский и поскакал к биваку.

Но гораздо раньше его на бивак примчались испуганные выстрелами ординарские лошади, которых легкомысленно пустили пастись вблизи, а следом за ними — несколько верховых из двух смежных разведов. На биваке их приняли за неприятельскую конницу и открыли по ним пальбу. Артиллери-

сты, чтобы спасти орудия, стремились вывезти их в тыл, причём несколько из них опрокинули в тесноте на крутых поворотах. Кто-то кричал, что это пленные дали сигнал своим, поэтому принялись избивать пленных... Не видя начальника дивизии, кричали, что он попал в плен вместе со всем своим штабом... Как-раз в разгар этой суматохи в темноте появился, наконец, Гильчевский. До хрипоты кричал он, восстанавливая порядок. Несколько лошадей, в которых и без того чувствовался недостаток, было убито, несколько подстрелено, и до двух десятков человек выбыло из строя. Но о том, чьи выстрелы раздались вначале, можно было только предположительно сказать, что это вздумалось разрядить карабины и ручной пулемёт какому-нибудь близко подобравшемуся в темноте разведку противника.

Главное же было в том, что дивизия, справедливо признанная ударной, поддалась панике и могла совершенно рассыпаться по причине более чем ничтожной.

Это удручало Гильчевского. Что его дивизия была ополченской, не извиняло её: ведь у неё за плечами были две только-что одержанных крупных победы. Речка Пляшевка, которую видел перед собою Гильчевский, его не беспокоила в той мере, как незадолго перед тем форсированная река Иква. О той он знал со времён академических, что она почти непроходима, о Пляшевке же ничего подобного не говорилось, да и на вид она была совершенно пустынной преградой по сравнению с Иквой, которая была шире местами в три, местами в два раза.

Разведчики всё-таки разосланы были с утра по всему её течению на участке будущей атаки искать броды не только в ней, но и в озёрах около неё, и в болотах, и этому занятию их завидовали другие солдаты, так как день выдался довольно жаркий. Перекидывались шутками на их счёт, что вот где наловят раков, а, может, кому и налим попадётся.

Однако разведчики, вдоволь, правда, накупавшись, доложили, что речка, хотя и неширокая, оказалась довольно глу-

бокoй: «где по шейку, где с головкой, а есть места, что и с ручками»; что болота засасывают и итти по ним можно только около берега; а что касается озёр, то их лучше всего обходить, потому что «войти-то в них — немудрое дело, а выбраться на тот берег — это уж мудрено».

Броды всё-таки были найдены ими в нескольких местах, и возле них на берегу оставлены заметы.

Деревни на левом, австрийском, берегу Пляшевки уже дотлели, но дым ещё висел в той стороне над холмами, и в воздухе остро пахло гарью.

— Вон на какую фокусную затею пошли, — кивая на пожарища, говорил Протозанову начальник дивизии. — Чтобы перед нами было место пусто, чтобы негде нам было удержаться, когда перейдём через речку!.. Поэтому думают драться с нами на совесть... Выходит, что тут народ посерьёзнее, чем там, нам попался. Напрасно всё-таки столько людей нищими сделали!

— Я тоже думаю, что напрасно, — поддержал Протозанов. — И это, по моему, явный признак, что удержаться на своих позициях они не думают, деревень своими уже не считали, а чужого добра им, разумеется, не жаль.

Дивизии была обещана батарея тяжёлых орудий, и Гильчевский поджидал её, часто оглядываясь туда, откуда должна она была показаться, но время шло, а батареи не было. Наконец вернулись ординарцы, посланные ей навстречу, и привезли донесение командира батареи. В донесении говорилось, что мосты по дороге к участку дивизии настолько оказались жидки, что доставить батарею 2 июня, ко дню атаки, совершенно невозможно.

Только-что перед этим размечтался было Гильчевский, глядя в сторону холмов, затянутых дымом:

— Подождите, голубчики, вот установим тяжёлую, — завтра мы вас прощупаем.

Теперь, передавая донесение своему начальнику штаба «для подшития к делу», он только горестно покачал головой и едко спросил:

— Видали, куда мы попали? А?

Часам к десяти утра подул ветер и раскрыл не только холмы на австрийском берегу Пляшевки, но и линию железной дороги; можно было наблюдать, как один за другим шли поезда к позициям противника.

Поезда эти, конечно, подвозили резервы; а это уж возмутило Гильчевского гораздо больше, чем история с тяжёлой батареей.

— Вот так штука, скажите пожалуйста! — несколько даже оторопело и потому тише, чем обыкновенно, говорил он. — Спрашивается, что же тут целую неделю бесполезно торчал этот комкор семнадцатого, генерал Яковлев? Занимался непротивлением злу насильем, — так, что ли? А мы к нему в помощь, зачем именно? Наткнуться на то, что там австрийцы приготовили благодаря его попустительству? Мерси покорно за такое одолжение!

Однако возмущаться долго не позволяло время: нужно было думать о своём участке и распределять свои шестнадцать батальонов и артиллерию: 36 старых лёгких японских пушек и 8 гаубиц; нужно было, чтобы каждый полк, из назначенных для атаки, заготовил материал для мостов и знал свои броды; нужно было, чтобы батареи знали, какому из полков должны были они подготовить атаку, — словом, нужно было составить боевой приказ по дивизии, короткий, но ясный и точный.

Дамба и взорванный железнодорожный мост приходились против чужой дивизии — 3-й, но Гильчевский решил, что участок австро-германских позиций, ближайший к железной дороге, неминуемо должен быть сильнее укреплен и снабжен живою силой, а так как он приходился против левого фланга его дивизии, то для атаки его назначил он два полка, поместив за ними в резерве третий; четвёртый же полк должен был атаковать остальной участок, более слабый, по мнению Гильчевского, хотя никаких сведений о позициях противника он не имел, — как не имели их, впрочем, и в штабе 3-й дивизии. Он знал только, что подступы к правому флангу врага на его участке гораздо удобнее, чем к левому, который был лучше

защищён природой, и это легло в основу его приказа.

2.

402-й полк, которым временно командовал подполковник Печерский, был назначен в резерв, к чему Гильчевский имел основания. Отставленный за трусость командир его Кюн бросил тень на весь этот полк, хотя в последнем бою на реке Икве он действовал ничем не хуже других полков. В Печерском же, как командиру, не совсем был уверен начальник дивизии. К тому же он ожидал, что ему пришлют вместо Кюна молодого генштабиста вроде недавно бывшего под его командой полковника Ольхина, теперь вместе со всей 2-й финляндской дивизией оставшегося в восьмой армии. Печерский был, по его мнению, староват для вождения полка, хотя исполнитель: ему было 57 лет, как и самому Гильчевскому.

Печерский был обыкновенный подполковник, каких довольно много встречалось до войны в пехотных полках, имевших стоянки по захолустьям. Не мудрствуя лукаво, проходил он службу. Перед парадами и смотрами подтягивал свою роту по части ружейных приёмов и шага, в остальное время больше сидел в канцелярии, занятый ротным хозяйством; по вечерам неизменно играл в преферанс. Росту был крупного, породности приличной чину, характера спокойного, голос имел густой и трубный, однако с хрипотой, которую называл «акцизной», что в переводе на общепонятный язык значило «спиртной». Умел прикидываться строгим и глядеть вытаращенными глазами, хотя по существу был весьма добродушен и, не отрицая своих кое-каких слабостей, снисходил к чужим. Была, между прочим, у него слабость вспоминать, каким метким стрелком вышел он из юнкерской школы, когда впервые надел вожделенные подпоручичьи погоны, однако вспоминалось им это исключительно с правоучительной целью, когда говорил он с молодёжью.

— Едва ли удастся вам, — рокотал он, — такую удачную партию сделать, какую я сделал, но-о, чем черт не шутит, — может быть, и удастся!.. Я ведь,

батенька, десять тысяч приданого за женою взял, — для того времени, скажу вам, большие деньги! А чем же я этого добиться мог? Исключительно, скажу вам, стрельбой!.. У них сад был, — яблони, прутья, — и вот она мне: — «Можете, говорит, попасть из учебной винтовки в яблоко, — вон в то самое, с розовой щёчкой?» — «Пожалуйста, говорю, — сколько угодно!» Так я не только, скажу вам, в эту розовую щёчку, я в это самое, на чём яблоко висит, попал, перешиб ножку дробинкой, — яблоко и хлоп влиз.. Она, конечно, руками по женскому обиходу выплеснула и ахнула. — «Это же вы, говорит, не в яблоко, а прямо мне в сердце попали! И уж если я за кого пойду замуж, так только за вас!» — Я, не будь глуп, — к папаше её с мамашей, — а у них магазинчик бакалейный на углу был, — ничего, хорошо торговали... Так и так, говорю... Ну, в тот же день, скажу вам, и сговор сыграли, — вот как дело вышло. Поэтому дам я вам такой совет: вы всё-таки в стрельбе практикуйтесь. Война—войной, конечно, ну, не век же война. Бог даст, будет ей конец, а вы целы-живы останетесь, — вот вам и пригодится. Девуцы героичество любят!

Трудно было решить молодёжи, шутит он или говорит серьёзно: карие глаза его, прятавшиеся в узких щелях, были с хитринкой. Чин подполковника и два ордена с мечами он получил по представлению Гильчевского, и теперь, командуя полком, не вознёсся, а, напротив, насторожился, кабы не оплошать. Поэтому назначение полка в резерв при атаке позиций на Пляшевке принял не только без тайного огорчения, но даже с явным удовольствием.

— Что там соваться вперёд! — говорил он своим батальонным и ротным, среди которых был командир тринадцатой роты прапорщик Ливенцев. — На войне веди себя так: на смерть зря не набивайся и от смерти тоже не отказывайся, скажу вам. Начальство знает, что оно делает.

Расправил короткую серую бороду вправо и влево и умолк.

— Всё-таки, господин полковник, хотя мы и в резерве, какая же задача нам

ставится? — попытался спросить за всех прапорщик Ливенцев.

— Задача? — переспросил Печерский. — Быть в резерве, — вот и вся задача. А получим приказ двигаться и куда именно; — тогда туда и двинемся, куда прикажут.

Ливенцев должен был признать, что сказано это было вполне определённо, но от командующего полком он всё-таки глядел большего; поэтому, пылливо глядя на тёмные холмы за извилистой речкой, обратился он к своему батальонному, подполковнику Шангину:

— Если два корпуса, наш и семнадцатый, должныгрызть этот орех, значит, он крепкий!

— А разумеется, — чем дальше в лес — больше дров, — подхватил волновавшийся торопыга Шангин. — Должны же, конечно, и они со своей стороны, раз мы им на пятки наступаем...

Совсем было налаживалась беседа по существу предстоящей тактической задачи, но беспутный прапорщик Тригуляев, командир 15-й роты, подошедший некстати, сорвал её: расслышав только слово «пятки», он понял его по-своему и заговорил весело, перебивая Шангина:

— Что, о сапогах доклад? У меня в роте тоже на сапоги жалуются. Ни к чорту дело: у кого пятки светятся, у кого носки каши просят... Вся Россия в солдатских сапогах ходит, — только у солдат сапог нет!.. Я уж им говорю: «Было бы своих сапог не пропивать, а теперь уж с мадьяр сапоги тащите, — у них крепкие».

Тригуляев о сапогах, а толстый и кучный командир 16-й, корнет Закопырин, бубнил об обеде, с которым, действительно, вышла заминка, вполне объяснимая, впрочем, так как дивизия не успела ещё как следует даже и осмотреться на новом месте. Но если солдаты терпеливо всё-таки ждали, когда, наконец, подъедут полевые кухни, то у самого Закопырина терпения было гораздо меньше.

После убитого в бою за Икву Коншина 14-ю роту принял другой прапорщик — Локотков — худощёкий, веснучатый, долгоносый, с птичьими глазами. У него была перевязана левая рука,

но он не покинул роты и на участливый вопрос Ливенцева: — «Что, царапнуло?» — ответил залихватски: — «Есть отчасти!»

— Теперь, однако, дело будет, кажется, посерьёзнее: наступать приготовились четыре дивизии, — скавал Ливенцев.

Но столь же залихватски отозвался на это Локотков:

— Тем лучше, — подопрут и справа и слева!.. Может быть, и ещё двадцать дивизий наших наступать будут по линии фронта завтрашний день, — тем веселее, конечно.

— А рука-то всё-таки болит? — любясь его молодым задором, спросил Ливенцев.

— Не то, чтобы очень болела, — поморщившись, ответил Локотков, — а, как бы сказать, задумалась над своим будущим.

— Вы кем же были до призыва в армию?

— Я? Помощником податного инспектора в городе Задонске.

— Это почти то же самое, что быть математиком, как я, — улыбнулся Ливенцев. — А как вы своих поготовите к завтрашней атаке?

Ливенцев спросил так потому, что этот вопрос неотступно стоял перед ним самим, однако Локотков как-будто даже обиделся вмешательством в его дело такого же ротного командира, как и он сам.

— Что же мне их ещё готовить? — вздёрнул он и тон, и голову. — Как ходили в атаку, так и завтра пойдут... если только придётся. А вернее всего, что без нас обойдутся, а мы только прогуляемся.

Ливенцев качнул головой, сказал: «Едва ли», и отошёл.

Это не было у него предчувствием, что его лично ждёт там, за Пляшевкой что-то непоправимо скверное, может быть, даже смерть. О себе он не думал. Он просто хотел представить себе теперь, в этот ясный и тихий летний день, грохочущее и жуткое завтра, хотел невозможного, конечно, однако допустимого — в той или иной степени, как допустима для решения любая тактиче-

ская задача, хотя теория с практикой при этом во многих случаях не совпадает.

Для него задача эта была на уравнении со многими неизвестными; он не знал того, что удалось узнать о противнике штабу 101-й дивизии в штабе 3-й, стоявшей здесь с неделю; он не знал и того, что донесли посланные в сторону противника разведчики. Он только внимательно всматривался во всё, что его окружало, стремясь угадать чутьём, успех или неудача ждёт всю эту массу людей, с которой он связан неразрывно.

За неделю, когда не было здесь боёв, австрийцы могли не только укрепиться, но и подвести много пополнений: железная дорога в их стороне работала безостановочно. Только авиация могла бы помешать ей в этом, но Ливенцев не видел, чтобы с русской стороны в сторону австрийцев летела хоть одна воздушная машина, в то время как над русскими войсками на фронте и в тылу часто кружились самолёты противника; спустился даже аэростат с прокламациями для русских солдат.

Физическая бодрость не покидала Ливенцева, чему он даже удивлялся, — ведь спать приходилось мало, урывками. Больных солдат в его роте тоже почти не было: он объяснял это общим подъёмом после двух побед сряду.

Хозяйственный рядовой его роты Кузьма Дьяконов, разувшись, чинил свои сапоги медной проволокой провода, действуя при этом шилом искусно и споро. Когда к нему подошёл Ливенцев, махнув ему рукой, чтобы не вставал, а продолжал делать, что делает, Дьяконов сорбчительно и как бы в своё оправдание заговорил:

— Десь тут валялся дрота кусок, — знял я его в руки, а он до чего же мягкий, прямо, как дратва! Надо, думаю, подмётки загодя прикрутить, а то уж отпадать зачали... Как через этуя речку если вброд иттить, — а мостов же нету, — то кабы не отвалились совсем, ваше благородие.

— Я тебя к медали представил, Дьяконов, — вспомнил Ливенцев.

Дьяконов в замешательстве поднялся, не выпуская сапога и проволоки из рук,

и проговорил одним выдохом, как учил его когда-то давно дядька-ефрейтор:

— Покорнейше благодарим, ваше благородь!

Подождал, не скажет ли ещё чего ротный, и добавил:

— Вот бы бабе домой отписать, что-бы знала!

— Что ж, — завтра, после боя, возьми да напиши, — сказал Ливенцев.

Но Дьяконов крутнул головой:

— Завтра — это как бог даст, ваше благородие: чи живой буду или-ча нету.

— Ну, раз так мрачно думаешь, успеешь ещё написать и сегодня — времени хватит, — наблюдая его и улыбаясь, рассудил Ливенцев.

Чуть дёрнув ответной улыбкой левый край толстых губ, Кузьма сказал на это:

— Нехай так и быть, уж заодно завтра напишу.

— Вот это другое дело, — и Ливенцев отошёл от него, будто унося с собой какую-то нечаянную находку.

В боях в конце мая все полки дивизии понесли довольно большие потери, почему Гильчевский приказал влить снова в свои роты людей из учебных команд; несколько человек, новых для Ливенцева, появилось теперь и в тринадцатой роте. Не произведённые ещё в унтер-офицеры, эти «вицы», как их называли, стали отделёнными командирами. Все они были ловкие ребята, стремившиеся шеголять выправкой, и одного из них, Бударина, особенно отметил Ливенцев за его деловитость.

Это был, что называется, разбитной малый, способный сразу прилипнуть к любому делу в роте вплотную, как муха к липкой бумаге. Притом его не нужно было заставлять повторять приказания, как приходилось это делать с иными сплошь и рядом: он как-будто все возможные приказания заранее знал наизусть, — с двух-трёх первых слов понимающе кивал круглым, как яблоко, подбородком и выполнять приказание бросался со всех ног.

Кстати, ноги его оказались самые крепкие во всей роте: Ливенцев знал от подпрапорщика Некипелова, что свалить его с ног никто в роте не был в состоянии, несмотря на то, что ростом он был

невелик и лицо у него было, как у подростка, а серые глаза совсем ребячьи.

В этот день, перед таинственной речкой Пляшевкой, с её озёрами и болотами, Ливенцев услышал от Бударина, что люди на походе выбрасывали патроны.

Это поразило его чрезвычайно.

— Как так патроны выбрасывали? Зачем? Может быть, стреляные гильзы? — зачастил он вопросами.

— Патроны, ваше благородие, а ничуть не гильзы, — сам заражаясь его изумлением, повторил Бударин.

— Патроны? Неужели патроны? — почти испугался Ливенцев того, что сам он не предусмотрел такой скверной возможности.

— Так точно, ваше благородие, патроны, — и даже подкачнул подбородком Бударин. — Говорят: «Это же только верблюду двести пятьдесят штук патронов таскать! Пятьдесят обоймов, они, посчитай, говорят, какой вес имеют!»

Рота Ливенцева была уж теперь, после двух боев, далеко не полного состава, однако в ней оказалось четырнадцать человек, выбросивших во время перехода сюда больше половины своих патронов, как излишнюю тяжесть.

С этим Ливенцеву не приходилось сталкиваться раньше, — ни в прошлом году, ни в начале 16-го года, когда он был на Галицийском фронте.

Он знал, что расход патронов с первого же дня наступления оказался огромным, что фронт потребовал от своего главнокомандующего уже на четвёртый день несколько миллионов патронов для винтовок обеих систем, бывших на вооружении армии: и своих русских трёхлинейек, и австрийских трофейных. И вот из этих миллионов, спешно присланных, ради успеха хорошо начатого дела, около двух тысяч выкинуто совершенно зря, как сор, бойцами его роты.

Он не только не скрыл этого от своего батальонного Шангина, но даже просил его доложить Печерскому, потому что солдаты, подобные его четырнадцати, могли, конечно, оказаться и во всех других ротах полка.

И вот, начавшись с его роты, сперва только в 402-м полку, а потом и во всех

полках дивизии, пошла проверка несомного запаса патронов, и солдат, не захотевших стать «верблюдами», нашлось много.

3.

Когда Ливенцев смотрел в штабе полка на карту участка, отведённого для атаки дивизии, он нашёл на ней две деревни с одинаковым названием: Большие Жабо-Крики и Малые Жабо-Крики, — первая была на русском берегу, вторая на австрийском, и против неё на карте было написано карандашом: «сгорела».

Внимание Ливенцева привлекло это название «Жабо-Крики», и он оценил его по достоинству вечером, после захода солнца, когда миллионы лягушек, — по местному жаб, — завели свои серенады.

Никогда не приходилось ему слышать такого оглушительного кваканья, покрывавшего все человеческие голоса.

— Вот это так артиллерийский обстрел! — прокричал Ливенцев стоявшему около него Локоткову.

Но настоящий артиллерийский обстрел австро-германских позиций за Пляшевкой начался, по приказанию Гильчевского, на другой день в четыре часа утра.

В сущности, это была только пристрелка, так как расположение батарей противника не было известно, — не было и самолёта, чтобы корректировать стрельбу.

Огонь открыли редкий; к шести часам он усилился, стал действительным, и до девяти грохотало сплошь, и рвалось, как в грозу, небо над долиной Пляшевки. Ровно в девять первые батальоны трёх полков двинулись к реке, — началась атака, которую ожидали австрийцы, заранее сжигая деревни, чтобы не мешали они обстрелу их орудий.

Роты шли каждая к своим бродам, где стояли сторожевым порядком их люди, — это видел, устроившись на своём наблюдательном пункте, на окраине деревни Савчуки, Гильчевский; он видел и то, как сапёры в стороне от бродов спешно пытались с раннего утра где поправлять взорванные мосты, где наводить новые; но он не видел никакого движе-

ния вперёд к реке со стороны соседней с ним 3-й дивизии, которой он пришёл на помощь.

Однако некогда было думать над этим. На другом берегу Пляшевки стояли близко одна от другой две деревни графа Тарнавского — Тарнавка и Старики; они были сожжены обе, но сгорели только крестьянские хаты, а господский дом, — большой двухэтажный, с красным крестом на фронтоне, так как в нём раньше был лазарет, — остался целёхонек, и как только двинулись передние роты 403-го полка, из всех окон верхнего этажа затрещали пулемёты, заставив их остановиться и залечь.

Это было первое коварство врага. Возмущённый Гильчевский, чуть только получил донесение от командира полка, приказал одной из своих гаубичных батарей зажечь дом.

— Каковы, а! Под вывеской Красного креста целая пулемётная команда! — кричал он, направляя сюда свой цейс.

Не прошло и пяти минут, как снаряды пробили крышу дома, и он запылал, однако одной батарее оказалось мало, чтобы очистить дорогу 403-му полку. Отделённое небольшим парком от дома, приземистое, но длинное здание винокуренного завода оказалось тоже хорошо защищённым, — там были и миномёты, а позади его тянулись искусно замаскированные окопы. Две лёгких батареи и две гаубичные принялись долбить этот выдвинутый участок неприятельских позиций.

Тут было жарко: пышно горел графский дом, раскидисто винокуренный завод, загорелась, наконец, и роща, и под прикрытием густого дыма, стелившегося понизу, по поясу вброд, высоко держа винтовки, пошли через болота и речку роты, каждое движение которых мог отчётливо видеть Гильчевский, так как его наблюдательный пункт находился всего в двухстах шагах сзади полка.

Правда, мог видеть только вначале, — потом, перейдя на тот берег, роты уже заволжались дымом и на поддержку им, теряя людей в перестрелке, но bravo, шли следующие роты.

Тут проходила дорога и был довольно хорошо, судя по остаткам его, устроен-

ный мост; можно было думать, что австро-германцы дёшево не отдадут этого участка своих позиций, однако гораздо более важным для них участком Гильчевский считал тот, который прилегал к железнодорожному полотну и должен был быть взят 3-й дивизией, а не его 101-й.

Он и не сомневался в том, что вот-вот двинется, — должен двинуться, — ближайший к станции Рудня правофланговый полк 3-й, чтобы обрушиться на противника сплошным фронтом.

Но пока шли только его части. 401-й полк без задержек двумя батальонами форсировал Пляшевку, — это он не только разглядел сам, — об этом ему донесли с запасного наблюдательного пункта, и он удовлетворённо сказал: «Ну вот...», опасаясь, впрочем, добавлять к этому что-нибудь ещё. Притом внимание его отвлек командир 404-го полка, молодцеватый полковник Татаров, который по грудь в воде шёл впереди своей первой роты через озеро, раздвигая руками кувшинки и лилии, точно огребаясь вправо и влево. Озеро это было неширокое, но довольно длинное, и узенькая лента Пляшевки светлела посередине.

Однако не только через это озеро, но и через другое, соседнее перебрались роты того же полка, и вдруг Протозанов заметил там, на другом озере, что-то странное.

Австрийцы стреляли, но огонь их не был настолько частым, чтобы сразу десять, двадцать, тридцать, сорок человек одной роты, нелепо барахтаясь, отчаянно взмахивая руками, бросая винтовки, попружались в воду, даже не пытаясь плыть, точно снизу хватало их что-то за ноги и топило.

— Что это значит? Тонут, что ли? Как же так? — ошеломлённо обратился он к своему начальнику.

Вертелись в стороны, вытягивались, попружались, наконец исчезали в мутной на вид, густой воде головы в фуражках и больше уж не показывались... Пятьдесят, шестьдесят... вся рота, храбро бросившаяся с берега, чтобы не отстать от других и, конечно, в пылу порыва взявшая несколькими шагами пра-

вее или левее найденного разведчиками брода.

Пляшевка! — О ней ничего худого не говорилось в академии, — о ней просто не упоминалось даже, как о совершенно ничтожной преграде, и вот, — тонет — утонула целая рота, — около двухсот человек, — и так началась эта операция ударной дивизии!.. Была рота и нет её, и даже не австрийцы уничтожили всех этих храбрых людей, и пострадал так нелепо полк самого лучшего из командиров дивизии.

Гильчевский был подавлен.

— И офицеры, офицеры тоже? — нужно спрашивал он Протозанова: ведь он видел и сам, что никто из злополучной роты не выбрался на тот берег.

Однако не было времени даже и сожалеть о зря потерянной роте: на левом фланге подходил к речке 401-й полк со своим, тоже образцовым командиром полковником Николаевым.

По диспозиции два батальона этого полка направлялись на сгоревшую Тарнавку, другие два — на деревню Пустые Ивани, расположенную вблизи станции Рудня, и при этих батальонах должен был находиться сам Николаев, получивший наиболее ответственную задачу, так как там, возле станции, Гильчевский ожидал упорнейшего сопротивления: ведь целый день 1 июня, видел он, со стороны города Броды шли и шли поезда с войсками.

Между тем и 403-й полк, который был непосредственно перед глазами, наткнулся на сильные позиции. На огонь четырёх батарей австрийцы отвечали жестоко. Когда их тяжёлые снаряды рвались в болотах, огромные грязевые фонтаны вздымались и падали, кудряво загибаясь.

Но полк этот, раньше других перешедший Пляшевку, добрался уже до окопов, начинавшихся тут же за сгоревшим зеленоватым пламенем винокуренным заводом. Там ничего нельзя было разглядеть в бинокль из-за дыма, но однажды донеслось оттуда «ура», прорвавшись сквозь канюнаду.

— Ага! Вот!.. Пошло дело, — про себя бормотнул Гильчевский, неуверенный, однако, что это — начало успеха.

За винокуренным заводом была деревня Середне. Она была сожжена австрийцами, однако не вся, — отдельно стоявшие дома господской усадьбы оставались целы, и представлялось возможным, что их дёшево не отдаст противник.

Полковник Татаров со своим полком, хотя и убавившимся на целую роту, был уже тоже на пепелище деревни Старики. Видно было, как последние ряды подтягивались, в то время как голова полка исчезла уже за деревней.

— Ну, что-то будет, что-то будет, — волнуясь, сказал Гильчевский, искоса взглядывая на своего начальника штаба.

— Возьмут! — уверенно отозвался Протозанов.

— А что же 105-я? 105-я что же? — вдруг выкрикнул Гильчевский, присмотревшись к небольшой роще за деревней Пасеки, где кончался его участок фронта.

— Думает-гадает, — ответил Протозанов.

— Чорт знает что!.. Немцы за это расстреляли бы, как собаку, как... сукина сына!.. Расстреляли бы за бездействие, — и стоит, следует! — кричал Гильчевский. — Какого же чорта они стоят, хотел бы я знать?

— А третья дивизия? — напомнил Протозанов.

— Вызовите Суханова! — прокричал Гильчевский. — Скажите ему, что это подлость!

Суханов был начальник штаба 3-й дивизии. Когда Протозанов отошёл говорить с ним по телефону, Гильчевский, не отрываясь, начал смотреть на свой левый фланг.

Как и ожидал он, там за предместные укрепления бились жестоко два крайние батальона полковника Николаева, но два других батальона перебрались через Пляшевку. Взяв окопы на том берегу, они, по мысли Гильчевского, должны были обойти австрийцев и заставить их поспешно очистить и Пустые Ивани, и станцию Рудню.

В его расчёты при этом входило и то, что 3-я дивизия будет действовать против той же станции слева, и глав-

ный узел сопротивления будет взят дружным сосредоточенным ударом с трёх сторон.

Вот и на участке 404-го полка обозначился успех: полковник Татаров всех своих людей стянул за рошу. Гильчевский не расслышал «ура» этого полка, но он увидел первую, хотя и небольшую, партию пленных, взятых, конечно, в окопах.

Между тем возвратился Протозанов и сказал тоном доклада, приложив к козырьку руку:

— Роты третьей дивизии будто бы лежат уже у проволочных заграждений, ваше превосходительство.

— Как так лежат у заграждений? — вскинулся Гильчевский. — У каких заграждений? Почему лежат?.. И кто видел, чтобы они шли в атаку?

— Так мне ответил полковник Суханов.

— Что же это такое, я вас спрашиваю, а? Издевательство, а? Стоят, как негодяи, да ещё и издеваются над нами, а?..

Гильчевский побагровел от возмущения.

— Я тоже усомнился было, однако Суханов подтвердил... Может быть, где-нибудь дальше и ведут наступление, только нам отсюда не видно, — пытался успокоить его Протозанов, но Гильчевский кричал:

— Если даже и лежат они там где-то под проволокой, то какая кому от этого польза, хотел бы я знать? Но я уверен, что даже и этого нет, что просто накально врёт этот Суханов! — Пускай, дескать, гастролёры лоб себе разобьют, а мы посмотрим! И стоят и смотрят, как наш полк вот уже час, не меньше, бьёт лбом об стену, а продвинуться не может!

— Даже как-будто осаживать начал, — пригляделся и встревожился Протозанов.

Действительно, два фланговые батальона 401-го полка пятились, это заметил и Гильчевский и, чувствуя всю дивизию, как своё тело, скомандовал неожиданно для Протозанова спокойно и твердо:

— Подполковнику Печерскому выдвигать

два батальона на помощь полковнику Николаеву, — передайте!

4.

Как дивизионный резерв, 402-й полк расположился частью в деревне Софиевке, верстах в трёх ют Пляшевки, частью впереди неё, в старых австрийских окопах.

Эти окопы приказано было привести в порядок, над чем и трудились роты накануне боя, хотя трудились с прохладцей: нельзя было вызвать даже и в офицерах особого внимания к окопам, которые они думали оставить далеко позади себя уже в первые часы атаки.

Как и вся дивизия, 402-й полк, получив размах, стремился двигаться, а не стоять на месте, и прапорщик Ливенцев, наблюдая за работой своих людей, тоже считал её почти ненужной. Окопы — это было прошлое, опротивевшее так же, как бинты раненому, который пошёл на поправку.

Теперь Ливенцев остро чувствовал пространство; для него было ясно, что так же остро ощущают пространство солдаты его роты и все в полку. Всё пространство кругом, которое мог охватить его глаз, резко делилось для него, а в нём и для других тоже: впереди оно было враждебным, сзади — своим. Будто и не австрийцы даже, а просто вон те холмы за речкой приготовились стрелять сюда, а эти холмы, наши, — туда.

Так остро чувствует пространство и вне военной обстановки тот, например, кто стремится к врачу, крепко надеясь, что именно этот врач спасёт от смерти близкого ему тяжело больного. Больной ждёт помощи, почти уже теряя сознание, из последних сил борясь с болезнью, но до врача далеко, — квартал, ещё квартал, и ещё шесть домов третьего квартала, и каждый из домов этих кварталов враждебен, и чем больше места занимает он по фасаду, тем враждебнее, и особенно враждебны дома в третьем квартале, где живёт врач, способный совершить чудо исцеления.

В то же время Ливенцев замечал за собою странность: несмотря на то, что вся местность за речкой Пляшевкой бы-

ла ощутимо враждебна, она казалась ему неповторимо красивой. Он старался как-нибудь объяснить себе это и не мог; однако отчётливо представлял, что в любое время раньше, до войны, проехал бы в вагоне вон по той линии, — из Ровно, через Дубно, в Броды, — без особого любопытства глядя по сторонам в окна; может быть, даже и не всматривался бы ни во что, а только скользнул бы взглядом и отвернулся.

Теперь всё кругом было для него полно глубочайшего смысла; теперь он думал, что ни один художник не передал ещё и в сохой доле того, что таится в самых обычных с виду линиях и красках, но некому было сказать об этом. Около него был неунывающего вида и сангвинического темперамента прапорщик Тригуляев, и вместо того, о чём он думал, Ливенцев сказал ему, кивая на Пляшевку:

— Такая вот речка была и у меня в детстве, в Орловской губернии, — я, бывало, мальчишкой любил у берегов в тине гольцов ловить и кусак.

— Каких таких гольцов и кусак? — готовый рассмеяться, как шутке, спросил Тригуляев.

— А это рыбёшки такие, совсем маленькие и очень узенькие и вёрткие очень, как вьюны, только вьюны гораздо больше... Кусаки — полосатенькие и с усиками.

— И что же вы с ними делали? Ели, что ли? — улыбаясь по-своему, больше глазами, чем губами, снова спросил Тригуляев.

— Нет, не ел... Их, кажется, вообще не едят, только на крючки надевают, — на крупного окуня, на щуку, на сомят...

— А-а, вот как!.. Скажите пожалуйста...

Думая всё о том же — о необычайной глубине и неповторимости тонов и линий, открывшихся ему вот теперь только, на Вольни, Ливенцев продолжал:

— А в одном болоте, таком же, как здесь вот, я как-то в детстве искупался и, представьте, весь почему-то опух.

— Почему именно опухли? — очень весело спросил Тригуляев.

— И сейчас даже не знаю, что за

причина была, только стал я сам на себя не похож. Я был совсем не из упитанных тельцов, а тут вдруг начал пухнуть, пухнуть, так что все дома перепугались... И дня три я таким солидным ходил, — потом, конечно, вошёл в норму...

И перебил себя вдруг:

— Представьте себе гигантских размеров бетонный бассейн, — такой, чтобы в нём могли разместиться двадцать-тридцать дивизий с одной стороны и столько же с другой... Как вы полагаете, воевали бы в таком бассейне люди и, если бы воевали, то долго ли?

— Гм... В бетонном бассейне? — несколько удивился было Тригуляев, но тут же добавил: — Непременно бы воевали по всем правилам, а так как отступать в таком местепещере некуда, то перекотили бы одни других без остатка.

— Нет, позвольте, вы не представляете ясно, в чём суть! Гигантский сухой бассейн, — подчеркнул Ливенцев и даже провёл вокруг себя рукою, насколько захватила рука, — и в нём ничего совершенно, кроме электрических матовых шаров вверху, чтобы было светло, как бывает перед самым восходом солнца или после захода, и гремят несколько часов подряд пушки, и трещат пулемёты, и плюются огнём огнемёты, и вообще весь антураж... Народу всё-таки много, истребить его в короткий срок нельзя, — канитель эта должна тянуться несколько дней, а люди ведь остаются людьми, — и попить, и поесть, и поспать надо, хотя ночей в этом бассейне нет...

— А во имя чего же они должны воевать? — перебил Тригуляев.

— То-то и дело, что во имя чего! — оживленно отозвался Ливенцев. — Ни красоты в этом бассейне, ни смысла, и никаких решительно надежд на что-нибудь ни в близком будущем, ни в отдалённом, — никогда!

Ему казалось, что он нащупал что-то такое, что может ему самому хоть чуть-чуть объяснить работу своих солдат над недавно ещё чужими окопами, но Тригуляев разбил его мысли трезвой фразой:

— Раз этого вообще не может быть, то на чорта мне над этим думать!

Ливенцев не умел так счастливо не думать над несбыточным, как его товарищ, и, когда от безнадежного серого мёртвого бассейна гигантских размеров переходил он глазами к совершенно невыраженной во всю её глубину красоте кругом, ему казалось, что он уже близок к пониманию того, что тут происходит вот теперь и неминуемо произойдёт завтра.

Рассвет был сырой и серый, как жидкая бетонная масса, утопившая все надежды, но пушки уже трезво гремели. Разбуженный ими Ливенцев чувствовал во всём теле холод, как будто он только-что выкупался и оделся, хотя наступило 2-е, а по новому стилю — 15 июня — лето! Гимнастёрка его была влажная на-ощуть. Люди его роты копошились около него, неясные, как тени, в белёсом тумане, сморкалились, откашливались, чесались, скатывали шинели, связывали их ремешками, просовывали в них головы, как в хомуты...

«Костюм солдата должен быть таков: — встал и готов!» Кто это говорил так, Суворов или Потёмкин?» — припоминал, оглядывая их, Ливенцев. Он даже и то должен был припомнить, что он — командир роты, их начальник, — это не появилось в сознании сразу. Ночь состояла из тяжёлых нагромождений бессвязного, из кошмаров, не дававших никакого отдыха телу. Ощущалась боль в икрах ног, впрочем, уже знакомая, покалывало в спине.

Хозяйственный Кузьма Дьяконов, приладивший на себе и скатку с котелком внизу, и вещевой мешок, и патронные сумки, сидел и усердно жевал хлеб.

— Что же ты ни свет ни заря жуёшь, Дьяконов? — сказал ему Ливенцев, проходя мимо.

— А как же можно, ваше благородие, без пищи? — удивился Кузьма. — Сейчас не поешь, — а там, может, за цельный день не придётся, — такое дело.

И эти рассудительные слова, и весь вид Дьяконова были такого свойства,

что самому Ливенцеву немедленно хотелось есть, хотя он определённо знал, что пройдёт ещё несколько часов, пока дойдёт очередь действовать резерву.

Рассвет ширился и рос. Туман поднимался и таял. Артиллерия своя и чужая грохотала всё оглушительней. Шли часы за часами. Пошли, наконец, в атаку полки.

Можно было стоять на бруствере и отсюда смотреть, — и Ливенцев стоял и видел, как спешили роты ближайшего 401-го полка к своим бродам. Кое-где, — видно было, — сапёры, несмотря на сильный обстрел, заканчивали наводку мостов, но мосты эти предназначались для артиллерии и обоза, и их необходимо было закончить во-время, чтобы не оставить пехоту без поддержки, когда она уйдёт далеко вперёд. Там может встретить она свежие силы, подвезённые по железной дороге, — как ей обойтись тогда без своих батарей? А пехота на то и пехота, чтобы уметь и мочь проходить везде, где может пройти один человек.

Охватившее Ливенцева накануне ощущение всепоглощающего могущества земли, какова она есть, с её высотами и равнинами, таинственностью леса и текучей воды, не только не покидало его теперь, — но оно выросло даже. И теперь над ним, где-то пораздо выше обычных представлений о жизни и смерти, билась мысль, чтобы выявить какую-то извечную связь человека с землёй и в смятение внести ясность.

И вместе с тем возникали в памяти фигуры и лица его четырнадцати солдат, бросивших патроны, как совершенно излишнюю тяжесть. Во всяком случае, он сам теперь, перед новым боем, чувствовал себя слабее, чем прежде, при том же числе рядов в роте. За этими четырнадцатью он приказал следить взводным и отделённым, — значит, в самый решительный момент он не мог быть вполне уверен, что вся рота, как один человек, пойдёт за ним.

Особенно досаден был из этих четырнадцати какой-то Телтерев, которого раньше он не то чтобы не замечал, но не стремился как следует заметить. Бывают такие, мимо которых всякому хо-

чется пройти, только раз и бегло на них взглянув. Они и уродливы, и глаза у них какие-то волчьи, и говорят они с большой натугой, и неизвестно, что у них на уме, но никто от них не ждёт ничего хорошего.

На вид этот Тептерев был совсем не слаб, а патронов он выбросил больше, чем другие, но к нему подошёл Ливенцев после других тринадцати, присмотревшись попристальной, покачал головой и сказал только:

— Эх, чадушко!.. — Ничего больше не добавил, — истратил слова на других, а повторяться не хотелось.

Тептерев старался держать голову прямо, стоя перед своим ротным командиром, но запавшие глаза его при этом всё-таки мерцали по-волчьи.

Австрийцы не зря сожгли деревню Тарнавку, в направлении которой шли один за другим два батальона первого полка дивизии: по наступавшим били прямой наводкой их лёгкие орудия, вели строчку их станковые пулемёты, — вся местность за речкой была открыта, вся пристреляна, и генерал Гильчевский отнюдь не переоценил этого участка австрийского фронта, поставив против него два своих полка, — главный узел обороны был именно тут.

Взмахнув в яркую высь, ещё трепетало в ней то невыразимо-прекрасное, что отделилось, отсочилось от утренней летней земли, и Ливенцев ещё чувствовал это, но с каждым новым моментом бой впереди подавлял, заглушал, заволакивал дымом красоту и земли, и неба. Трудно было разглядеть, что творилось там, на другом берегу Пляшевки, куда переправился 401-й полк, но пальба там была непрерывной, ожесточённой.

— Кажись, напоролись наши, — сказал, подойдя, полуротный, подпрапорщик Некипелов, — сказал серьёзным тоном; но иным тоном этот высокий сибиряк с прихотливо вздёрнутым носом и рыжеватыми усами говорил редко. Свои четыре георгия — два серебряных и два золотых — он прикрыл примётанным на живую нитку куском материи под цвет своей слинялой гимнастёрки: сам хороший стрелок, бывший таёжный охотник,

он знал, что георгии — это цель для стрелков противника.

— Напоролись? — повторил Ливенцев не столько с явной тревогой в голосе, сколько с недоумением: просто не верилось, что дивизию может постигнуть неуспех в такое утро.

— А что же вы думаете, Николай Иванович, — ведь подготовка жидкая была, — на ура люди пошли, а только «ура» что-то не кричат.

— Может быть, за артиллерией не слышно было, — попробовал возразить Ливенцев, но сибиряк покрутил головою:

— Не-ет, солдатские глотки, — они лужёные, какую хотите артиллерию перекричат!

— В таком случае что же мы-то стоим? — удивился вдруг Ливенцев. — Ведь мы — резерв, — должны вызвать.

— Когда вызовут, — придётся и нам тоже...

Слова обоих были скупы, но слух напряжён, а глаза неопытно прикованы к тому берегу, где чернело пепелище бывшей Тарнавки.

Ливенцев не хотел верить себе, когда ему показалось, что ружейная перестрелка стала как-будто ближе, а на чёрных крупных пятнах пожарища замелькали белесоватые мелкие пятна, но Некипелов сказал вдруг решительно: «Ну да, — напоролись наши!» — а вслед за этим раздалась вблизи звонкая солдатская передача:

— Третьему-четвёртому батальонам перейти в наступление!..

В сторону Тарнавки не было моста. Несколько ниже по течению, против деревни Старики, самоотверженно трудились сапёры, стараясь восстановить взорванный австрийцами длинный мост, но он так и не был ещё доведён до конца, — мешал обстрел.

Туда батальоны не шли, — шли к бродам, чем дальше, тем больше ускоряя шаг: видно было, что помощь 401-му полку нужна неотложно, — ряды отступавших густели, пусть даже большая часть из них были раненые с провожаемыми.

Ближе к речке долина стала кочковатой; из-под придавленных солдатскими

сапогами кочек проступала, брызгая, грязь.

Шли развёрнутым фронтом, чтобы меньше нести потерь, держа направление на броды. Вперёд выслан был Печерским четвёртый батальон, а головной в батальоне шла тринадцатая рота.

И обе гаубичные и лёгкие батареи усилили огонь, прикрывая наступление резерва, но у австрийцев были шестидюймовки, недостижимые для русских орудий. Три тяжёлых снаряда упало впереди 13-й роты, однако разорвался только один, и то в болоте, в стороне от брода, до которого было не близко. Чёрный, жирный, как нефть, прынул вверх широкий столб жидкой грязи, перемешанной с водорослями, и грузно упал.

Ливенцев шагал самозабвенно.

Ничего уже не осталось в нём от той напряжённой мысли, во власти которой находился он накануне и в этот день утром.

Теперь была только напряжённость тела. Сильно работало сердце, точно барабан, отбивающий шаг ему, как и всей его роте.

Как всякий предмет, погружённый в воду, теряет часть своего веса, так легковеснее сделался он, потеряв немалую часть себя в стихийн бой. Точнее, большей частью своего я он как бы растворился в людях, — и не только в своей роте, но и в своём батальоне, и в тех людях, из 401-го полка, за речкой Пляшевкой. И в том именно, что, может быть, наполовину перестал быть самим собою, и таилась эта подмывающая лёгкость.

Сильнее захлопали под ногами кочки. Попадались и воронки, полные чёрной воды, — их обходил Ливенцев чёткими, спешащими, лёгкими шагами, их обходили и другие вместе с ним и за ним, шедшие молча, споро и яростно.

И вот, наконец, брод, — перейти через болото и речку, — и к своим, а там уж что будет... Там, во всяком случае, видят, что идёт подмога, там будут держаться крепко, там, может быть, даже подаются уже вперёд...

Переход от чавкающей под сапогами жидкой грязи к грязной и неглубокой

воде болота был незаметен для Ливенцева. Брод был предугазан, к нему заранее было создано доверие, о нём не думалось. Если брод, — значит, тот же мост, только подводный, а по пояс будет воды или несколько выше, не всё ли равно?

Нужно было только перестроиться, сделать захождение правым плечом, — брод был неширок, об этом предупредили дежурившие здесь двое, из которых один оказался раненым в мякоть ноги осколком снаряда, хотя оба прятались в камыше. Они же указали и направление, какого надо держаться, чтобы выбраться на тот берег.

Стараясь переправить роту как можно скорее, Ливенцев пропустил вперёд первый взвод и пошёл сам со вторым, когда уж было налажено дело.

Вода болота оказалась почти нестерпимо зловонной. Всё, что таилось тут на дне долгое время, теперь было поднято кверху. Этого Ливенцев не предвидел; он шагал, плотно прижав верхнюю губу к носу, боясь, что его стошнит. Водоросли цеплялись за ноги, — из них трудно было вытаскивать ноги, — они были густы... вот нога стала на что-то более твёрдое, чем грунт дна, и Ливенцев догадался, что это — тело убитого из 401-го полка. Тела убитых попадались и в долине, между кочками, но там их обходили, здесь же по ним шли.

Низко над головой, шипяще свистя, пролетел снаряд, и Ливенцев повернул голову, обеспокоенный, не упал бы он как-раз в четвёртом взводе его роты, но в это время незаметно для себя он сделал шаг или два в сторону и почувствовал, что сначала за правую, потом и за левую ногу как-будто кто-то схватил его и потянул вглубь.

Он сделал большое усилие и вытянул правую ногу, но пока держал её, не решаясь поставить, левая ушла глубже.

— Тону!.. Тону, братья! — крикнул он в ужасе.

Ужас перед тем, что через два-три мгновения он скроется с головой в этой зловонной жиже, был так велик, что он ещё раз и уже каким-то чужим фальцетным голосом закричал:

— Тону-у-у!

И вдруг увидал вровень со своими глазами волчьи глаза Тептерева и тут же почувствовал, что чужая рука, обхватив в пояс, сильно тянет его к себе, так что он подбородком коснулся чего-то мокрого и колючего, и ноге его стало остро больно, как будто разрывали её по суставам двое крепкоруких, — этот, Тептерев, и кто-то там внизу другой.

Но нога всё-таки вырвалась, хотя и с болью, как вырывается из челюсти зуб щипцами дантиста, а Тептерев около бормотал:

— Вот сюда становись, ваше благородие, здесь потвёрже!

Ливенцев стал на то, что было потвёрже, — коряга ли, опутанная толстыми скользкими стеблями кувшинок, или тело незадолго перед тем убитого, ещё не успевшее целиком всосаться тинной.

— Спасибо тебе, братец! — сказал он, чувствуя холодный пот на лбу, — и дальше они уже пошли рядом.

Ноге было больно, как при вывихе, однако с каждым шагом боль затихала, и когда выбрался он, наконец, на другой берег Пляшевки, мокрый по пояс, грязный, он только прихрамывал слегка, но чувствовал себя бодро, как это требовалось минутой.

— Вот свиньи-то стали! — с чувством выкрикнул подошедший сзади Непкипелов. — И воняет ото всех, как от свиней!

Подполковник Шангин предпочёл и на этот раз, как это бывало с ним и раньше, итти не впереди, а в хвосте своего батальона, с шестнадцатой ротой; ему же, Ливенцеву, сказал только:

— Там вообще вам самим будет видно, как надобно поступить.

Действительно, за три версты от фронта трудно было и представить, что может ожидать передовую роту, — вперёд ей придётся итти или окапываться на берегу.

Цепочкой шли мимо раненые с провозжатыми, направляясь туда, где сапёры доводили почти до этого берега ближайший мост. Сзади, по тому же самому болоту, из которого только-что вылезла тринадцатая рота, брела по пояс

четырнадцатая; ей в затылок шла пятнадцатая; дальше — шестнадцатая, а за нею — весь третий батальон. Впереди же, шагах в трёхстах, пытались удержаться поредевшие роты 401-го полка.

Нельзя было медлить ни минуты, и, едва нашли свои места во взводах солдаты, Ливенцев повёл роту вперёд.

Когда при помощи Тептерева высвобождался он из засосавшего было его болота, он вынужден был почти лечь на воду, погрузиться в неё по шею, и за ворот рубахи натекла грязная жижа, от чего всё тело стало юмерзело-липким и холодным, точно и не его совсем, чужим и зловонным.

Двигаясь с возможной скоростью в сторону непрерывного рокота пулемётов и трескотни винтовок, он прежде всего хотел почувствовать себя собою, прежним, привычным для себя самого, о возможной же смерти через минуту, через две, или в лучшем случае о тяжёлом ранении почему-то ему совсем не думалось, точно шёл он не в бой, а под душ, возле которого непременно должно было лежать чистое сухое бельё.

А так как он, — за последнее время особенно, — не отделял уже себя от своей роты, то не представляя и того, чтобы кто-нибудь в ней чувствовал себя иначе, чем он. И действительно, вся рота шла без отсталых, форсированным маршем; у всех в сапогах хлюпала грязь, всем хотелось согреться.

5.

Захваченный в первый день прорыва—22 мая старого стиля — в плен венгерский офицер-наблюдатель держался на допросе самоуверенно и даже гордо. Попытка русских прорвать изо дня в день девять месяцев всеми мерами укреплявшийся австро-германский фронт казалась ему мальчишеством. Он говорил убеждённо:

— Наши позиции неприступны, и прорвать их невозможно. А если бы это вам удалось, тогда нам не остаётся ничего другого, как соорудить грандиозных размеров чугунную доску, водрузить её на линии наших теперешних позиций и написать: «Эти позиции были

взяты русскими. Завещаем всем — никогда и никому с ними не воевать!»

Однако те позиции были всё-таки взяты русскими войсками, а новые, за речкой Пляшевкой, далеко не были так сильны, как те. Они были бы и ещё слабее, если бы семнадцатый корпус, потерявший много людей в первые дни боёв, не позволил их укрепить за неделю своего бездействия и подвести к ним резервы.

Правда, резервы эти были плохи, — между ними были даже рабочие роты, — то-есть негровщина, и такие во всех откопанных ненадёжные люди, как заброшенные в тылу беглые солдаты, бросившие не только оружие, но и свои серо-голубые шинели ввиду тёплой летней погоды.

Бросать всё, кроме оружия, чтобы облегчить себе бегство и этим спасти остатки дивизий от полного уничтожения, было, впрочем, приказано самими растерявшимися генералами австро-венгерских армий: питая надежды на свои обильные склады в тылу, они знали, что людские силы монархии Габсбургов почти вычерпаны до дна. Дороги были люди, — вещи дешёвы, а в это время в русских армиях насчитывались сотни тысяч безоружных и необутых, бесполезно томившихся в ожидании, когда они, оторванные от своих семей и своего труда в тылу, станут, наконец, солдатами.

Если не так много свежих резервов смогли подвести к австрийским позициям, то было из чего и чем развивать бешеный огонь по наступавшим русским ротам. Начальник штаба 3-й армии Суханов не выдумал, что залегли под проволокой двинутые им в наступление части: они не в состоянии были подняться из-за сплошного свинцового ливня.

Полковник Татаров, этот крепко сбитый, спокойно-деловой человек, поставивший себе за правило ходить в атаку впереди своего 404-го Камышинского полка и потерявший в коварной Пляшевке целую роту, полагал, что хватит первого порыва, чтобы выбить австрийцев из окопов.

Порыв полка был действительно силен, и счастье не изменило Татарову, а вместе с ним и полку: две первые линии окопов были заняты. Однако, хотя и большой ценой заплатили камышинцы за свою удачу, — в третью линию укреплений они не прошли: там скопились резервы и были пущены в контратаку.

Ослабленный большими потерями полк Татарова начал было уже пятиться назад, как и 401-й, но в это время на левом берегу Пляшевки появились свежие роты: это генерал Гильчевский направил сюда остальные два батальона 402-го, Усть-Медведицкого полка, — весь свой последний резерв.

— Ну, теперь пан или пропал, и чорт меня пусть возьмёт, а иначе нельзя, если такие оказались соседи и слева и справа тоже! — кричал он, волнуясь.

Его наблюдательный пункт на холме, на окраине деревни Савчуки, удачно был скрыт деревянным забором, за который навалили мешки с землёй. С него не совсем ясно было видно, что делается на левом фланге, зато хорошо просматривался правый, над которым витали надежды. Это были надежды на то, что чем дальше от станции Рудня, тем должны быть слабее австрийские позиции; отчасти на это указывала и разведка. А главное надеялся Гильчевский на 105-ю дивизию, что вот-вот она ударит сразу по всему своему фронту, и такого натиска противник не выдержит там, а это облегчит дело его полков здесь.

Нервно смотрел он на свои часы. Полчаса, час, ещё полчаса... Между залпами артиллерии всё время слышалась пулёмётная и ружейная трескотня, но полки точно увязли там, за речкою, все, как в трясине: шли только раненые, — пленных не было видно, не было и донесений об успехе.

Протрзанов снова обращался в штаб 3-й дивизии, но получил тот же ответ: «Части лежат под проволокой; поднять их не можем». Начальник штаба 105-й дивизии три раза отвечал на запросы: «Выступаем немедленно... Сейчас выступаем... Отдаём приказ о наступлении...»

Однако никакого движения вперёд не было заметно.

И только к часу дня, когда на мосту, достроенном, наконец, сапёрами на участке между деревнями Малые Жабо-Крики и Серёдне, показалась первая партия пленных, взятых 403-м Вольским полком, Гильчевский пробормотал облегчённо:

— Ну, слава богу, кажется... кажется, обернулось колесо фортуны...

И тут же добавил громко и радостно:

— Ага, вот-вот! Давно бы, давно бы вам надо, губошлёпы! Давно пора!..

Это он заметил, как начали двигаться к реке ближайшие полки 105-й дивизии.

По долгому опыту он знал, что фронт чуток: от человека к человеку идут невидимые провода, и если фронт дрогнул в одном месте, жди, что волнами пойдёт в обе стороны эта дрожь.

Гильчевский ждал недолго.

Сначала от Татарова, потом от полковника Николаева, из 401-го, Карачевского полка, что было ещё радостней и желанней, пришли донесения: противник увозит поспешно в тыл тяжёлую артиллерию; противник очищает третью линию укреплений; противник бежит беспорядочными толпами к линии железной дороги...

— Конницу, конницу надо! — возбуждённо кричал Гильчевский Протозанову. — Требуйте сию же минуту от Заамурской дивизии бригаду!

— Требовать буду, хотя выйдет ли толк, не знаю, — с сомнением отозвался Протозанов.

— Как так «выйдет ли толк»? Не смеют они отказать! — горячился Гильчевский.

— Да ведь дивизия эта в подчинении генерала Яковлева, а не у нашего комкора.

— Что из того, в чьём она там подчинении? Что из того? Неприятель бежит, — конницу вдогонку! Правило это или нет? Для парада они здесь или для войны, — для чего они здесь существуют?.. Пусть дадут хотя бы один только полк для начала, а потом сами

авось догадаются послать ещё бригаду. Требуйте, а не просите! Пусть сейчас же доложат комкору Яковлеву!

Протозанов энергично пошёл вызывать начальника штаба Заамурской 3-й дивизии, но вернулся ни с чем: заамурцы ответили, что будут ждать приказаний, а без них не могут тронуться с места.

6.

Ливенцев недолго вёл свою роту; скоро пришлось скомандовать ей «ложись!» и самому лечь, — впереди лежали резервы карачевцев. За тринадцатой, — видел Ливенцев, — ложилась успевшая переправиться и подойти четырнадцатая, с прапорщиком Локотковым, и Ливенцев не сомневался в том, что так же удачно, как и Локотков, переберётся через болото и Тригуляев со своей пятнадцатой, — наконец, с шестнадцатой появится толстый Закопьярин, а вместе с ним и батальонный — Шангин. В это верилось, потому что этого хотелось.

Мокрая рубаха липла к телу и холодила его, а нога, облепленная грязью, болела в щиколотке, но это уж не ощущалось как острое неудобство. Это забывалось даже на длинные минуты, когда над головой пролетали наши снаряды, чтобы разорваться у австрийцев, и непрерывно гудели австрийские пули.

Это был трудный момент для действовавших здесь батальонов 401-го полка, с которыми не было полковника Николаева, — он руководил боем двух других батальонов левее, ближе к станции Рудня.

Только-что выдержана была контратака австрийцев. Она была отбита, правда, но могла повториться снова: в третьей линии своих укреплений австро-германцы обычно накапливали силы для неоднократных контратак. Требовалась неотложная помощь, и вот она пришла, и, выждав время, карачевцы ринулись на штурм. Когда начали проворно сниматься с мест впереди лежавшие карачевцы и, не разгибая ещё спина, но уже выставив штыки, бросались ряд

за рядом вперёд, Ливенцев, опершись на руку, оглянулся назад, ища глазами Шангина или какого-нибудь от него ординарца с бумажкой из полевой книжки в руке — приказом, что ему делать: подымать ли роту или продолжать оставаться на месте, — быть резервом... Но ведь за четвёртым шёл третий батальон, — конечно, ему бы и быть резервом, — так думалось.

Сердце чётко отбивало мгновенья, но ни Шангина, ни ординарца с бумажкой не видел Ливенцев.

Зато он увидел, как поднялись вдруг по пояс сразу несколько человек из его роты, между ними и Бударин, широко на него глядевший, и повелительно захватило его стремление вперёд, будто он нашёл приказ в этот момент именно там, где и думал найти, — сзади себя, и быстро вскочил на ноги.

Он не командовал «встать!» — рота проворно поднялась вся, на него глядя, и так же точно, как перед тем карачевцы, побежала за ним на согнутых ногах, выставив штыки.

Бежали, однако, не в затылок карачевцам, а уступом вправо. Это вышло как-то само собою, и Ливенцев только набегу решил, что именно так и надо: проход в проволоке, перед тем пробитый снарядами, он заметил несколькими секундами позже, чем кто-то из роты, — может быть, взводный унтер-офицер Мальчиков, выходец из вятских лесов. Направление было взято верно теми, кто обогнал своего ротного.

Австрийцы стреляли. Люди падали. Ливенцев споткнулся, задев за чьи-то ноги, через которые не успел перескочить. Ударился при этом подбородком обо что-то острое, но тут же вскочил и побежал снова в резком, почти воющем крике «а-а-а» и навстречу частому хлопанию выстрелов, разжигавших в нём жгучую злобу. Со своим револьвером он будто сросся рукой, а крови, капавшей с подбородка, не чувствовал вовсе, как не чувствовал и боли в правой ноге.

Вторично упал он, когда вскочил вслед за другими в окоп, но тут он только слегка ушибся коленом всё той

же правой ноги о затвор брошенной австрийской винтовки. Поднявшись, подумал почему-то: — «Ну, вот: где тонко, там и рвётся!..» Теперь уж можно было так подумать: окоп был взят. Теперь можно и нужно было руководить ротой.

— Не зарываться! — закричал он неожиданно для себя хрипло, — перехватывало горло.

Он многое вкладывал в эту свою команду: и то, что люди могут нарваться на гранатомётчиков в глубине окопа, в лисьих норах, и понесут большие потери; и то, что иные могут зря задержаться, начав обшаривать окопы; и то, что противника, убегающего в тыл по ходам сообщения, надо преследовать, не давая ему опомниться и вновь укрепиться немного дальше.

Только один Бударин, бывший совсем близко от него, услышал, что он что-то скомандовал, и приостановился. А в это время рослый и плотный австриец, — как потом оказалось, хорват, — с искажённым ненавистью горбоносым смуглым немолодым лицом неожиданно оказался вдруг рядом с Ливенцевым.

Руки у него были в крови. И прежде, чем Ливенцев успел понять, что хорват поднялся, раненный штыком, из кучи тел, — тот бросился на него, что-то рыча и вытянув свои кровавые руки к его шее.

Ливенцев едва успел отскочить, едва поднял свой револьвер, как Бударин, хекнув, всадил сразмаху штык в грудь хорвата.

Это произошло гораздо быстрее, чем можно передать в самых скупых словах, но разом подняло в Ливенцеве какой-то скрытый ещё запас сил. Появилась вдруг большая подтянутость, а вместе с нею зоркость, и голос вернулся, и тут же заметил он у себя спереди на гимнастёрке кровь и подумал, что она брызнула на него с австрийца: ранка на подбородке не давала о себе знать и теперь.

Прилипчивы окопы противника, когда они взяты штурмом, — это уже знал Ливенцев и не надеялся так вот сразу

собрать свою роту, тем более, что следом за нею набегали уже другие.

Не больше двадцати человек собралось около Ливенцева, когда он выскочил из окопа. Между ними был, конечно, Бударин, который и не отходил от него, но радостно было Ливенцеву увидеть и Тептерева.

— А-а! Жив? — второпях обратился к нему Ливенцев, чуть улыбнувшись.

— Так точно, — наугузно ответил Тептерев, после чего высморкался на ходу и поспешно вытер широкий несообразно с лицом, похожий на култышку, нос рукавом рубахи.

Но Ливенцев не видел, как его догонял вальковато бежавший Кузьма Дьяконов. Этот хозяйственный человек уже успел напихать что-то в свой вещевой мешок, который невероятно разбух и уже не закрывался, и поблёскивал плоской банкой консервов, а Дьяконов старался запихнуть её куда-то в недра своей катки.

Ему спокойнее и удобней было бы остаться в занятом окопе, а потом увязаться сопровождать какого-нибудь тяжело раненного, но раз ротный командир сказал ему, накануне, что представил его к медали за храбрость, то стало уж неудобно не быть у него на виду.

А Ливенцеву далеко впереди, на взволке одного из холмов, бросилась в глаза туча бурой пыли. Там, на повороте, он разглядел упряжки и понял, что это поспешно увозилась в тыл австрийская батарея.

— Бегут! — закричал он радостно, обращаясь к Бударину.

— Сматывают удочки! — столь же радостно отозвался Бударин.

«Сматывал удочки» и весь австрийский фронт на этом участке: всё бежало, где отстреливаясь, где стреляя вдогонку, где крича, где молчаливо забирая ногами землю, которая только одна и могла спасти от плена или смерти.

Это видел Ливенцев направо и налево, насколько хватал глаз, и впереди тоже. Это значило, что и 404-й — Камышинский полк и два батальона кара-

чевцев там, ближе к железной дороге, тоже сломили врага.

— Что же заградительного огня не открывают? — спросил скорей самого себя, чем кого-либо из своих солдат, Ливенцев, повернувшись назад, в сторону наших холмов за Пляшевкой. — Уйдут ведь, все уйдут, чорт их догонит!

И вот тут-то он увидел Дьяконова, который сзади и вправо кричал что-то и махал призывно руками.

— Пушки! — разобрал его крик Бударин.

— Как пушки? — не поверил Ливенцев. — Неужто бросили?

Как-раз в это время то, чего ожидал он, — заградительный огонь открыли русские батареи. Часто и кучно начали рваться снаряды на пути бежавших австрийцев...

Нужно было иметь цепкий глаз, чтобы набегу, в общей сумятице разглядеть хорошо замаскированный орудийный окоп и в нём брошенные орудия. Такой именно глаз и имел Кузьма Дьяконов.

Правда, когда подбежал к нему прежде всех Бударин, он сказал ему не об орудиях, какие нашёл, а о консервах, которые потерял набегу:

— Вот досада мне какая!.. И как это я их мог?.. Ну, может, опосля найдутся...

Ливенцев увидел две лёгких пушки, которые были брошены так поспешно, что их не успели даже привести в негодность: замки были на месте, лафеты исправны.

— Ну, брат, хорошо ты сделал, что не писал вчера своей жинке: сегодня уж я сам о тебе писать буду!

Но Дьяконов понял его не так, как ему хотелось, а по-своему. Он расцвёл, отвечая:

— Вот покорнейше благодарим, ваше благородие, как сами ей напишете об мене! А то же ведь сам я пишу как? Прямо сказать, как кура лапой.

Со стороны Камышинского полка, справа, донёсся в это время сплошной, сотрясающий землю конский топот, и когда Ливенцев поглядел туда, он увидел картинку, поразившую его красотой:

эскадрон за эскадроном, с шашками наголо, голубым пламенем торевшими на солнце, мчался конный полк догонять беглецов...

Звонко отстучав копытами по только-что законченному сапёрами мосту через Пляшевку, парадно-чистые кони трёх основных мастей явно для Ливенцева тоже чувствовали терпкую сладость победы, которую вот-вот сейчас должны были довершить их всадники.

Глава вторая ЗАДЕЛАТЬ БРЕШЬ!

1.

Когда армии русского Юго-Западного фронта пробили зияющую брешь в многовёрстной заставе, которую воздвигли немецкие генералы и солдаты, и когда вошли они в более тесные отношения с армиями ближайшего союзника Германии, императора Австро-Венгрии, это очень обеспокоило Вильгельма, это явилось совершенно неожиданным для него после удачно отражённых его войсками наступательных действий на Западном русском фронте в марте и в апреле.

Каковы были надежды на железобетонные укрепления, это видно было из того, что ими захотели даже пощеголять, отбросив всякую заботу о военной тайне: весной в Вене на особой выставке всем невозбранно показывались снимки с них, — смотрите и удивляйтесь, какое у вас правительство, какая у вас армия, какова ваша мощь!

Признали, что эта выставка мощи необходима, как дополнение к голодным пайкам, как яркий показатель того, что с русским фронтом покончено после разгрома его в предыдущем году, когда отобраны были и Галиция, и Литва, и Польша.

Брусиловский прорыв спутал все карты Вильгельма: похеренные было русские войска оказались и деятельны и сильны! Верховный главнокомандующий всех сухопутных и морских сил Германии — кайзер послал приказ командующему своим восточным фронтом генералу Гинденбургу: «Заделать брешь!»

Как ни спокойно чувствовали себя с виду в Берлине, когда оглядывались весной на Россию, но лучшие генералы германской армии — Гинденбург и его начальник штаба Людендорф, — организаторы разгрома русской обороны, — продолжали всё-таки оставаться на русском фронте.

Гинденбург был упорен в своей мысли, что «дорога к счастливому для Германии миру лежит через поваленный труп России». Что Россия уже «труп», в этом он не сомневался, но он помнил изречение Фридриха II: «Русского солдата мало убить, — надо ещё и повалить потом на землю!»

Что Россия так неожиданно ожила в июне, поразило и его так же, как и Вильгельма, но он оттягивал помощь Австрии, надеясь поставить во главе австрийских войск на русском фронте своего генерала, фельдмаршала Макензена, — чему противился начальник австрийского главного штаба Конрад фон Гетцендорф, не желавший остаться совсем не у дел, уронив при этом престиж Австрии, как великой державы.

На австрийском фронте и без того была допущена чересполосица: два участка позиций занимали германские войска, — один против 11-й армии, другой — против 8-й. И как-раз этот последний, которым командовал генерал Линзинген, прикрывал направление на Ковель, избранный Брусиловым как главная цель его наступательных действий.

Ковель был обращён немцами в сильную крепость, и значение его действительно было велико. Он являлся ключом ко всему Полесью, на которое, в свою очередь, должен был произвести сильнейший нажим Эверт; это единство усилий Юго-Западного и Западного фронтов должно было, по замыслу Брусилова, дать решительные и очень важные результаты.

Однако немецкое командование лучше понимало значение Ковеля, чем русская Ставка с царем во главе, принимавшая все резоны Эверта к оттяжке дела. Переговоры с австрийским правительством

о том, чтобы весь фронт против Брусилова передать прославленному германскому генералу Макензену, ещё продолжались, а немецкие дивизии уже шли затыкать «Луцкую дыру», заделывать брешь.

Ни у кого не возникало сомнения в том, что немцы несравненно скорее смогут подтянуть резервы к любой точке своего фронта, чем русские: в то время как в Европейской России имелось железных дорог только 1 километр на 100 квадратных километров пространства, в Германии на то же пространство приходилось около одиннадцати. Вопрос был только в том, откуда взять резервы.

Как-раз в эти дни на Западе французы и англичане готовились к переходу в наступление на реке Сомме. Подготовка эта не составляла секрета для немцев. Было хорошо известно, как напряженно долгие месяцы работала военная промышленность обеих стран. То же было там и с живой силой. Даже Англия сумела накопить миллионы хорюшо обученных солдат, не говоря о Франции, — так что снимать дивизии с фронта на Сомме значило повторить ошибку, допущенную в начале войны. Тогда, благодаря переброске трёх дивизий с запада на восток, хотя и была одержана победа над армией Самсонова в Пруссии, при Сольдау, зато проиграно решающее сражение на Марне, что совершенно срывало весь тщательно обдуманый план молниеносной войны, — войны «только до осеннего листопада», как выразился в одной из своих речей в начале августа сам Вильгельм.

Война на два фронта тем и была страшна для немцев, что ставила их армию в положение тришкина кафтана и не только грозила затяжкой борьбы на годы, но и не давала просвета, не вызывала даже самых умеренных надежд на окончательную победу, хотя об этом и запрещалось говорить вслух.

Как и ожидали союзники, немцам пришлось ослабить свои войска, долбившие форты Вердена, иначе русские

дивизии могли появиться в тылу их позиций к северу от Припяти.

Но Людендорф не надеялся всё же на то, что поддержка с Запада поможет ему остановить порыв брусиловских войск. Тогда он решил снимать батальон за батальоном с фронта, противостоящего Эверту.

Выжидала Ставка, когда подготовится как следует Эверт; выжидал Эверт, когда иссякнет, наконец, долготерпение Ставки; но время не ждало. И отчего же было Людендорфу не снимать батальоны с фронта, который решил оставаться неподвижным? Даже из-под Двинска начали прибывать к Ковелю целые полки...

Усиленно работали паровозы на захваченных почти за год перед тем у русских железных дорогах. Поезд за поездом подвозили генералу Линзичгену в Ковель новые и новые части, орудия, снаряды... В то же время и Конрад фон Гетцендорф, талантливейший из австрийских генералов, ни за что не желавший уступить Макензену руководства восточным фронтом, делал всё, чтобы усилить свои разгромленные корпуса за счёт корпусов, посланных уже против Италии.

Их возвращали с пути; им внушали, что более серьёзного момента не переживала монархия за всю свою многовековую историю; от них требовали подвигов; им указывали на памятники их побед в истекшем году, когда бок о бок с германскими корпусами они возвращали австрийской короне Галицию, — освобождали Перемышль и Львов...

Так, к концу дня 2 июня, когда дивизия Гильчевского, форсировав Пляшевку, стремилась не отрываться от опрокинутых ею австрийцев, в штаб Брусилова одно за другим приходили донесения с других частей его огромного фронта, что противник значительно усилился и начал переходить в контратаки.

2.

Как-раз в то утро 2 (15) июня, когда гремели орудия дивизии Гильчевского, подготавливая атаку на станцию

Рудню Почаевскую и на весь шести-вёрстный участок вправо от неё по долине Пляшевки, наштаверх Алексеев послал из Могилёва, из Ставки, в Бердичев Брусилову такую телеграмму, помеченную № 2955:

«Читая действия 17 корпуса и вообще 11-й армии, задаюсь невольным вопросом о плане атаки. Левое крыло противника глубоко охвачено, прорыв неприятеля за Икву бесцелен, следовательно на Икве можно было сохранить заслон; все же силы 17 корпуса и дивизию 32 корпуса собрать в районе восточнее Козина и развить сильный удар на Рудню Почаевскую. Вопрос решится быстро и без тяжёлых жертв длительной фронтальной атаки. Позволяю высказать мнение только потому, что хорошо знаю район и условия ведения в нём действий. Алексеев».

Удар на Рудню был произведён удачно, быстро и без особенно тяжёлых жертв, благодаря энергии генерала Гильчевского и боевому порыву его дивизии, а главное, решён он был совершенно независимо от «мнения», которое «позволил себе высказать» наштаверх.

Донесения командующему 11-й армией генералу Сахарову о победе на реке Пляшевке были посланы своевременно и комкором 32 генералом Федотовым, и комкором 17 — Яковлезым. К вечеру этого дня по прямому проводу об этом удачном деле доносил Сахаров Брусилову. И всё же другие донесения, — с фронта 8-й армии в особенности, — оказались в глазах Брусилова гораздо важнее частной удачи в районе Рудни Почаевской.

А ещё важнее было для него то, что начинало сбываться самое скверное, о чём он думал ещё в апреле, после совещания в Ставке. Исключительно злобствующим стало представляться ему сухое бородатенькое заискивающее лицо Куропаткина, каким оно было, когда он подходил к нему, Брусилову, за обедом в царской столовой и предлагал взять назад выраженную им готовность вести наступление. Он сомылился тогда и на Эверта, и вот теперь они оба стали в

позу равнодушных наблюдателей, когда им-то и назначались царём и Алексеевым главные роли.

Особенно Эверт возмущал Брусилова, поскольку фронт Куропаткина уходил далеко на север, а фронт Эверта был рядом и по сути дела только для него, для его решительных и сокрушающих действий пришёл в движение Юго-Западный фронт.

Сыграна была увертюра, но опера не начиналась. Почему? Этого не в состоянии был ни понять, ни допустить Брусилов и с каждым новым днём он становился раздражительней и мрачнее, потому что каждый новый день имел для наступления его войск непередаваемое по своей важности значение, но к вечеру каждого дня он убеждался, что ошибается в такой оценке: непередаваемо важное для него оказывалось как будто совершенно неважным для Ставки, а приказы, которые шли оттуда в штабы Эверта и Куропаткина, пустой формальностью.

Ещё 30 мая он получил копию телеграммы Алексея Эверту, которая как будто могла питать его надежды на раскачку Западного фронта:

«Государь Император повелел для более прочного обеспечения операции Юго-Западного фронта справа и более надёжного нанесения удара противнику в районе Пинска перебросить немедленно в этот район из состава войск Северного фронта один дивизион тяжёлой артиллерии и один армейский корпус по выбору главкосев. Тяжёлый дивизион направить по возможности в числе головных эшелонов корпуса. Перевозку войск начать немедленно и вести таковую с наибольшей скоростью, допускаемой средствами железных дорог. Операцию у Пинска начать, не ожидая подвоза корпуса, лишь по прибытии 27-й дивизии, что вызывается положением дел на Юго-Западном фронте. Алексеев».

Район против Пинска занимала соседняя с 8-й армией Каледина — 3-я армия, которой командовал Леш. Леша лично знал Брусилов, как серьёзного

боевого генерала, и в тот же день, 30 мая, он телеграфировал ему:

«Обращаюсь к вам с совершенно частной личной просьбой в качестве вашего старшего боевого сослуживца: помощь вашей армии крайне энергичным наступлением, особенно 31 корпуса, по обстановке чрезвычайно необходима, чтобы продвинуть правый фланг 8-й армии вперёд. Убедительно, сердечно прошу быстрее и сильнее выполнить эту задачу, без выполнения которой я связан и теряю плоды достигнутого успеха».

Это не было обращением одного генерала к другому, стремящемуся идти с ним в ногу к одной важнейшей для государства цели. Тон телеграммы был таков, будто два соседа по имениям выехали в одно отъезжее поле на охоту за волком, и один другого «убедительно, сердечно» просит во имя старой дружбы не упустить серого, если загонщики прямо на него выгонят зверя из леса.

Но иначе, как с надеждой, что, может быть, просьба будет уважена, нельзя было в положении Брусилова и обращаться к такому же, как и он, полному генералу, который ни в малейшей степени не был ему подчинён. Его и умолять-то представилось возможным только после того, как получилась телеграмма с торжественным началом: «Государь император повелел».

Преувеличенная вежливость в письменных сношениях между собою генералов, бывших в одних и тех же крупных чинах, впрочем, была общепринята тогда в русской армии. Так, например, генерал Сахаров, командарм 11-й, донесение своё Брусилову от 31 мая закончил таким оборотом: «Не признаете ли вы, ваше высокопревосходительство, возможным приказать почтить меня уведомлением о решении вашем по вышеизложенному».

Ответа от Леша не было ни 31 мая, ни 1 июня, хотя Брусилов часто спрашивался об этом у своего начальника штаба, тоже необычайно воспитанного генерала-от-инфантерии Владислава Наполеоновича Клембовского.

Леш и не мог ничего ответить в положительном смысле, так как выступить в помощь 8-й армии он не мог без приказа на это своего главнокомандующего Эверта, который тем временем, — именно 1 июня, — предпочёл телеграфировать Алексею на его «Государь император повелел»:

«Метеорологические данные предсказывают дождливую погоду в районе 3-й армии в ближайшие два дня. Ввиду незакончившегося сосредоточения 27-й дивизии с тяжелой батареей, наступление на пинском направлении я предоставил командарму 3 отсрочить на 3-е и даже на 4-е число. Прошу сообщить, не признаете ли более соответственным отложить наступление в пинском направлении до прибытия и постановки на позиции 3-го тяжёлого дивизиона и сосредоточения большей части сил 3-го корпуса. Полагаю, что к 6-му это будет выполнено... Эверт».

О содержании этой телеграммы Брусилов ничего не знал, но зато среди дня 2 июня получился, наконец-то, ответ Леша со ссылкой на приказ Эверта не начинать никаких действий раньше 4-го.

Такой ответ не мог не взорвать и без того тяжело переживавшего свою оторванность от других фронтов Брусилова.

Он изорвал поданную ему телеграмму Леша в мелкие клочья. Он начал усиленно шагать по своему кабинету и кричать по адресу Леша:

— А-а, Леонид Павлович, Леонид Павлович!.. Всё время до войны, сколько я его знал, был он Вильгельмович, а теперь вдруг слышу — Павлович, по высочайшему соизволению!.. Вроде Саблера, Саблера, — обер-прокурора святейшего синода, который тоже вдруг стал почему-то Десятковский!.. Но уж раз ты стал Павлович, так почему же ты не захотел вдобавок к этому и обрусеть настолько, чтобы поддержать товарища в общем деле? Не осмелился изорвать немецкие мундиры о русские штывки так, чтобы не доложиться об этом своему мерзавцу главкозату?!.. Изменники, подлецы, изменники! Вот

кого мы имеем соседями по фронту, Владислав Наполеонович, — это прямые и подлинные изменники отечеству, изменники России, и я, ничуть не стесняясь, написал бы об этом государю, если бы не был твердо уверен, что это ни к чему решительно не приведёт!.. А между тем вот и Щербачёв доносит, что против него уж начали действовать новые германские дивизии, и Сахаров, и Каледин тоже... Это потому, конечно, что Вильгельм вызывал к себе Людендорфа и при-ка-зал! Да если бы и не вызывал даже, — Людендорф, конечно, сделал бы всё, что нужно, и сам, без приказа свыше... А почему же у нас этого нет, я вас спрашиваю? Воюем мы или в бирюльки играем, как сапаты дураки?..

Человек гораздо более спокойный, чем Брусилов, начальник его штаба Клембовский пытался было, но не мог подыскать ничего, что могло бы успокоить главнокомандующего.

Вечером этого богатого волнениями дня 2 (15) июня Брусилов сам составил и приказал послать Алексееву телеграмму, имевшую исходящий № 1702.

Была эта телеграмма не очень многословна, однако весьма значительна по содержанию:

«Вверенные мне армии начали наступление 22 мая. Западный фронт должен был атаковать противника 28 и не позже 29 мая. Затем эта атака была отложена, до 4 июня, но для пресечения возможности противнику стянуть с севера резервы к моему фронту было приказано 3-й армии 31 мая овладеть Пинским районом. Только-что узнал из телеграммы командарм 3 № 2265, что и эта атака отложена до 4 июня. Постоянные отсрочки нарушают мои расчёты, затрудняют планомерное управление армиями фронта и использование в полной мере той победы, которую они одержали: враг опомнится, усилится, закрепится для нового отпора, который повлечёт за собой потерю времени и потребует новых серьёзных усилий. Приказал 8-й армии прекратить наступление. Брусилов».

3.

Император Австрии и король Венгрии, 86-летний Франц-Иосиф доживал тогда последние месяцы своей жизни.

Только для очень немногих, таких же глубоких старцев, как и он сам, Франц-Иосиф не был с первого дня их жизни монархом, а для всех остальных — первый глоток воздуха, первый крик на постели матери и — Франц-Иосиф. В манифестах он обращался к весьма пёстрой населению своей империи патриархально-торжественно: «Мои народы!»... Венгерское восстание 1848 года было направлено против него, и Николай I для укрепления его на троне послал стотысячную армию с Паскевичем во главе, а спустя пять лет спасённый им молодой «австрийский Иуда», как известно, «удивил мир неблагодарностью», бряцая оружием против России.

В 1866 году он воевал с Пруссией и был побеждён Вильгельмом I; теперь же он старался быть ревностным союзником его внука Вильгельма II, однако по дряхлости своей редко уж был в состоянии дослушивать доклады премьер-министра, — засыпал.

«Его народы» чувствовали и вели себя в пределах его монархии, как раки в корзине, которые таинственно о чём-то шепчутся и выползают из нее вон. Иные, как венгры и чехи, даже и не шептались, а говорили в полный голос: сепаратные идеи владели ими давно и обсуждались на все лады.

В рачьей корзине этой швабы считали главенствующей нацией себя, венгры — себя; немцы ненавидели чехов, чехи — немцев; галицийские украинцы были на ножах с поляками, никогда не переставшими мечтать о самостоятельной Польше; итальянцы Триента тяготели к Италии; трансильванские румыны — к Румынии; южные славяне — к Сербии. «Лоскутное одеяло» в любой подходящий момент готово было разодраться на клочки, сшитое, как оказалось, на живую нитку. Доходило даже до того, что венгры открыто высказывались против присоединения к землям Франца-Иосифа побеждённой Сербии: они опасались, что в этом слу-

чае славяне, благодаря своей большей численности, получают и самый большой вес в государстве и спихнут с первого места Венгрию.

В то же время венгерские войска были признанно лучшими из войск двуединой монархии: им отдавали дань уважения даже немцы. Однако теперь, под нажимом русских армий, бросали свои позиции и уходили в тыл и венгры после сопротивления, более упорного, чем оказывали чехи и швабы, но с не меньшей поспешностью. Немецким генералам приходилось подпирать одинаково весь разбитый фронт, готовый окончательно рухнуть и тем обнажить правый фланг фронта принца Леопольда Баварского, примыкавшего к фронту Гинденбурга.

Если против армий Лечицкого, Щербачёва и Сахарова, выдвинувшихся менее сильно вперёд, чем 8-я, генерал Конрад бросал один за другим корпуса, снятые им с пути на итальянский фронт, то в направлении на Ковель появилась спешно сколоченная немецким командованием группа генерала Руше, нацеленная для действий во фланг частям Каледина, если они зарвутся, а для лобового удара и для охвата их справа стремились выстроиться шесть дивизий, составивших группу генерала Марвица, который выдвинулся в эту войну в действиях против французов. Кроме того, 10-й германский корпус выгружался из вагонов, прибывая эшелонами в Ковель.

Это было очевидное для всех военное превосходство Германии над своим крупнейшим союзником — единый и прочный тыл.

На бляхах всех солдатских поясов у немцев была выбита одинаковая надпись: Gott mit uns («с нами бог»), а в мозгах огромнейшего большинства немцев в тылу пока еще непоколебима была вера в кайзера Вильгельма и его генералов — смотреть на весь мир только сквозь пушечное дуло считалось еще обязательным для немцев в тылу.

Что же касается самого кайзера, его министров и его генералов на Востоке, то они встревоженно щупали пульс Ру-

мынии: кое-кто уже находил его слегка лихорадочным и не без оснований предполагал, что он может стать горячечным, если не прекратит русские успехи.

Неоднократно и раньше посылались Вильгельмом в Румынию доверенные лица, чтобы склонить короля Фердинанда к выступлению на стороне Германии, но прожжённый политик-король отмахивался от этого с ужасом. Он не говорил о том, что армия его слаба и совсем не готова к такой войне, какая велась, — напротив, он был о ней прекрасного мнения, но давал понять, что не вполне убеждён в будущей победе центральных держав над державами Антанты; ссылаясь он при этом на то, что курс марки сильно упал за границей, в то время как курс стерлинга стоит твёрдо, и на то, что Румыния — маленькая страна и, если проигрывает войну Германии, может потерять всю свою территорию. «Впрочем, — добавлял Фердинанд, — если бы австро-германцы заняли Бессарабию, а Румынии предложили бы управлять ею, то от этого она бы не отказалась».

Теперь до Берлина доходили слухи, что Англия покупает в Румынии по высоким ценам огромное количество хлеба не потому, чтобы очень нуждалась в нём, а с одной стороны, чтобы отбить этот хлеб у Германии, с другой, — чтобы подкупить румынских помещиков и решительно повернуть все их симпатии в сторону Антанты.

Победа над войсками Брусилова, притом победа решительная, блестящая и быстрая, признавалась в Берлине совершенно необходимой.

Как ни трудно было Берлину поверить в то, что утверждали Гинденбург с Людендорфом ещё весной, однако приходилось верить, что русский фронт потребует ещё больших усилий, пока будет окончательно сломлен, но теперь им ставилось в обязанность успеть это сделать до середины июня, когда, по секретным сведениям, должны были перейти в наступление накопленные на Сомме силы англо-французов.

Известно было, как деятельно гото-

вились они к этому шагу, и это представляло кайзера торопить Людендорфа, обосновывая его будущий успех главным образом тем, что войска Брусилова терпят сильный недостаток в снарядах.

У союзников России дело обстояло, конечно, иначе. Впоследствии Ллойд-Джордж писал о снабжении их армий боеприпасами так:

«...французы копили свои снаряды, как-будто это были золотые франки, и с гордостью указывали на огромные запасы в резервных складах за линией фронта... Когда Англия начала по-настоящему производить вооружения и стала давать сотни пушек большого и малого калибров и сотни тысяч снарядов, британские генералы относились к этой продукции так, как если бы мы готовились к конкурсу или соревнованию, в котором все дело заключалось в том, чтобы британское оборудование было не хуже, а лучше оборудования любого из ее соперников, принимающих в этом конкурсе участие... Военные руководители в обеих странах, повидимому, так и не восприняли того, что они участвуют в этом предприятии вместе с Россией и что для успеха этого предприятия нужно объединить все ресурсы так, чтобы каждый из участников был поставлен в наиболее благоприятные условия для содействия достижению общей цели... На каждое предложение относительно вооружения России французские и британские генералы отвечали и в 1914, и в 1915, и в 1916 г., что им нечего дать и что если они дают что-либо России, то лишь за счёт своих собственных насущных нужд...»

4.

Можно было Брусилову негодовать на Эверта, на Леша, на безвольную, мирволящую им Ставку, но очень долго негодовать всё-таки не приходилось, — нужно было думать о всём своём четырёхвёрстном фронте, — что ему угрожает, где он может двигаться вперёд, где он должен закреплять позиции, где его необходимо усилить и чем? Для всего этого надо было про-

читывать множество донесений, вновь и вновь всматриваться в огромную карту, испещрённую отметками, находить на той же карте станции, где высаживаются присылаемые пополнения, и соображать, через сколько времени в состоянии они будут добраться до фронта; наконец, справляться, сколько и каких именно снарядов и сколько ружейных патронов в наличии на складах.

Этот последний вопрос был наиболее острым: и наступать, и обороняться нельзя было, если в достаточной мере не питать фронта боеприпасами, а между тем расход их был за последние дни огромен.

Вопль о снарядах шёл с фронта в ставку Брусилова, и ему самому приходилось быть раздатчиком снарядов, а также ружейных патронов для винтовок русских, австрийских, японских, — патронов, которые требовались миллионами. Ему нужно было думать и о том, в какой степени изношены орудия и какую работу на фронте они могут выдерживать, а после какой откажут, так как замена орудий новыми представляла тоже очень сложный вопрос.

Никто из русских генералов того времени не изучал так внимательно причины неудачных наступлений Щербачёва в декабре 15 года и Эверта — в марте 16-го, как Брусилов. С предельной точностью высчитывал он, сколько и каких орудий необходимо сосредоточить против определённого числа погонных сажень австро-германского фронта и сколько снарядов надо иметь для того, чтобы разрушить первые две линии укреплений. Так готовил он свое наступление. Но вот обстановка менялась: его не поддержали ни Западный фронт, ни Северный, и дали возможность противнику собрать против него силы, которые теперь уже стремятся переходить в контратаки.

Фронт велик и чрезвычайно разнообразен по своим природным данным и по тому, какие части русских войск его занимают и какие и где именно войска врага им противостоят. Слишком извилистую линию фронта, какую она яви-

лась к двенадцатому дню наступления, местами надо было выправить, — подать вперёд, — это относилось частью к 7-й армии, частью к 11-й, численно гораздо более слабым, чем 8-я и даже 9-я.

Это было огромное хозяйство, все нужды которого надо было держать в голове, чтобы в любой момент ясно можно было представить, что и где творится.

Так как значительно дальше в глубь территории, занятой до того противником, выдвинулся Каледин, то против него и нужно было ожидать энергичнейших действий немцев вплоть до излюбленных ими «Канн», так удавшихся Гинденбургу в операции против Самсонова при Танненберге и против 20-го корпуса генерала Булгакова в Августовских лесах. Следовательно, нужно было сдерживать порывы 8-й армии, чтобы она не попала в расставляемый для неё мешок, а в то же время была наготове поддержать 3-ю армию, когда та 4-го числа (наконец-то!) перейдёт в наступление. 31-й корпус этой армии, под командованием генерала Мищенко (тоже «манчжурца», как и Леш, и Эверт, и Куропаткин) соседствовал с 8-ю армией, и Каледину предписано было держать с ним постоянную связь.

Настало 4 (17) июня. От Каледина пришло донесение, что один из его корпусов уже теснят перешедшие в контрнаступление немцы. Это ожидалось Брусиловым, но ожидалось и движение вперёд очень сильного по своему составу — в пять пехотных и три кавалерийских дивизии — ударного корпуса Мищенко.

Однако вместо этого движения Брусилов получил от Алексева, как и другие главнокомандующие фронтами, директивную телеграмму с пометкой «Совершенно секретно»:

«Государь император, выслушав телеграмму главнокомандующего, хотя войска армий закончили подготовку намеченного удара, но им предстоит крайне тяжёлая работа при чрезвычайно сильно укрепленном фронте неприятельской позиции, лобовых ударах, обещающих

лишь медленное, с большим трудом развитие операции, повелел:

1. Немедленно начать переброску двух корпусов Западного фронта на Ковельское направление, выполняя перевозку по железным дорогам с полным напряжением средств.

2. На Виленском направлении, продолжая усиленно работы, привлекая внимание противника, атаки не предпринимать».

Дочитав до этого места, Брусилов прервал чтение телеграммы, хотя она была длинной, — главное было сказано: «Атаки не предпринимать!»

— Ну, вот видите, вот видите!.. Разве я был неправ? — ошеломлённо говорил Брусилов, вскочив из-за стола, высоко подняв брови, сделав болезненную мину и обращаясь к своему начальнику штаба.

— Тут дальше есть всё-таки, Алексей Алексеевич, насчёт наступления в сторону Пинска, — склонясь над телеграммой, попытался успокоить его Клембовский.

— В сторону Пинска?.. Когда именно?.. Какими силами? — вполголоса, что было у него признаком сильнейшего раздражения, спросил Брусилов.

— Сказано так: «3. Развить энергичный удар на Пинском направлении, производя таковой в строгом согласовании с действиями Юго-Западного фронта и помогая всемерно последнему».

— Но точно-то, точно-то всё-таки нет ничего, когда именно «развить энергичный удар» этот? — почти кричал Брусилов. — И что это значит «в строгом согласовании с действиями Юго-Западного фронта»? Что это значит, хотел бы я знать?

— Да, разумеется, это — фраза туманная... Вот если бы нам передали 3-ю армию, тогда бы можно было её понять, как надо, — разъяснил Клембовский.

— Если бы мне дали, — то завтра же она пошла бы в дело!.. Но ведь не дадут, не дадут, — вот что!.. Раз это армия Эверта, она и будет стоять на своём месте, пока... пока не полу-

чится новая директива, чтобы она и дальше так стояла!

— Виленское направление заменяется барановичским, — продолжал вчитываться в телеграмму Клембовский, — «для нанесения здесь главного удара Западного фронта. На перемещение и подготовку его величество предоставляет от 12 до 16 дней...»

— Ого! Ого! — перебил Брусилов. — Предоставляется 12—16 дней, а перемещаться и готовиться будут два месяца!

— Тут непосредственно и о нашем фронте есть тоже, — сказал Клембовский, вздохнув: — «Юго-Западному фронту собрать теперь же надлежащие силы для немедленного развития удара и овладения Ковельским районом, ибо только этим путём будут привлечены к манёвренной деятельности скованные ныне 30, 46 и 4-й конные корпуса».

— Опоздали!.. Опоздали с «манёвренной деятельностью» конницы!.. — выдал из себя с виду как бы овладевший уже собою Брусилов. — Перейди в наступление Западный фронт, хотя бы сегодня с утра, мы могли бы быть в Ковеле через... через три-четыре дня, а теперь поздно!.. Что конница действует более чем вяло, об этом я ведь доносил сам, — что же они мне моим же добром да мне же челом?.. Да, скверно действовала конница всё время, и Гилленшмидта, комкора 4, я ведь сам хотел отчислить, но почему, спрашивается, за него вступился Каледин? Да, конница — наше слабое оказалось место, но мы её получили такую, — перечислять её теперь уже поздно... И всё-таки, всё-таки эта плохая конница гораздо лучше, чем эвертова пехота! Она всё-таки пытается двигаться, а не торчит, как музейная восковая кукла, на месте!

Он, в волнении делая преувеличенно чёткие шаги, прошёлся по кабинету и добавил:

— Овладеть Ковельским районом? Малого захотели, когда теперь там уже выпрузили целый корпус!

— Зато ведь и нам дают целых два корпуса, Алексей Алексеевич, — напомнил ему Клембовский.

— А когда они будут у нас? Когда будут? — выкрикнул резко Брусилов. —

Когда немцы десять корпусов к Ковелю перебросят?.. Не-ет, это мне ясно!.. Не хотят воевать, хотя только вольнику тянуть, а я-то вызвался на наступление!.. Во-от дурака сваял в их глазах!.. Ну, что же делать! Я ведь не немец, как Эверт, не придворный анекдотист, как этот Куропаткин, — чем же я взял?.. Вот теперь и расхлёбывай свою же кашу! Эверту — реверанс, а мне замечание, что конница у меня ставана!.. Так-то-с! Надо поговорить со Ставкой, — устройте-ка мне это, Владислав Наполеонович!

Разговор с Алексеевым состоялся в обед, когда Брусилов несколько пришёл в себя, изучил присланную директиву и все донесения с фронтов армий, особенно 8-й.

— Здравствуйте, Михаил Васильевич! — начал Брусилов, выпрямляя бумажку с записями, которую держал перед глазами. — Вследствие того, что отложена атака Эверта, — раздельно говорил он, — я попал в довольно трудное положение: в Ковеле собирается манёвренная большая группа, от Владимира-Вольнска действует уже другая; два обещанных корпуса придут ко мне довольно поздно. Мне крайне нужно для собственной ориентировки знать, когда в действительности генерал Эверт перейдёт в наступление и когда 3-я армия переходит в Пинске в атаку противника и какими силами. Кроме того, для того, чтобы я мог вести начинающиеся горячие бои, мне совершенно необходима присылка огнестрельных припасов, а именно, — больше всего требуется ружейных патронов русских, потом, второе, — мортирных 48-линейных гранат, третье, — 6-дюймовых полевых, 6-дюймовых крепостных, 120-пудовых Канэ и 42-линейных 1877 года. Без ускоренной присылки огнестрельных припасов вести бои невозможно.

— Здравствуйте, Алексей Алексеевич! — отозвался Алексеев. — Против Пинска у Мищенко восемь дивизий, из них три кавалерийских, — этим силам указано начать бой не позже 6 июня. Относительно главного удара генерала Эверта сделаю всё возможное, чтобы началось не позже 15—16 июня. Постараюсь ускорить всеми средствами и име-

нем государя, которому ясна ваша обстановка. Приму меры к приливу вам огнестрельных припасов. Кстати, к вам поехал великий князь Сергей Михайлович, которому непосредственно укажите на потребность, но распоряжения будут сделаны в пределах возможного теперь же.

— Ещё у меня просьба, насчёт увеличения тяжёлой артиллерии. Ко мне прибыли 5-й сибирский и 23-й корпуса без единой пушки тяжёлой артиллерии.

— К вам приказано отправить два тяжёлых дивизиона с Западного фронта. Они поедут с 1-м армейским и 1-м Туркестанским корпусами. Посадка корпусов началась вчера. Думаю, что через 10—11 дней боевые части обоих корпусов будут в вашем распоряжении. Постараюсь поискать ещё один тяжёлый дивизион.

— Очень благодарен! Больше ничего не имею, — значительно успокоенный сказал Брусилов и добавил: — Могу лишь сказать, что приложим все усилия, чтобы выйти из создавшегося положения возможно приличнее. Я не о себе беспокоюсь, а о войсках, которые будут очень огорчены, и о деле, которое может быть скомпрометировано... Может статься, что всё обойдётся благополучно. Имею честь кланяться.

— Помогите и благословите бог! — с искренней ноткой в голосе закончил разговор Алексеев. — Имею честь кланяться!

5.

До разговора с Алексеевым Брусилов послал Каледину сердитую телеграмму:

«Невзирая на мои предыдущие приказы не продвигаться на запад, вы два дня подряд их нарушали во вред делу... Вы хорошо должны знать, что подобное своеволие я не допущу. Приказываю немедленно мне донести причину нарушения вами моих приказаний».

Ему очень отчётливо представлялось, что Каледин, точно глаза у него завязаны, сам лезет в расставляемый перед ним немцами мешок.

И перед завтраком он говорил Клембовскому:

— Какая обуза для меня этот Кале-

дин! Нет, нет, его придётся сменить!.. Не знаю только, как к этому отнесётся государь, а я бы... я бы вас поставил на место Каледина, хотя мне без вас было бы и очень трудно, но что делать, — на фронте вы нужнее.

— Что вы, Алексей Алексеевич! — почти испуганно протестовал Клембовский. — Я, наверное, буду гораздо хуже Каледина... Притом же менять командарма перед такими серьёзными боями, какие нам предстоят, — как хотите, а мне кажется это очень рискованным.

После того, как Алексеев обещал ему два корпуса из армий Эверта и непременно на 6 июня назначил наступление корпуса генерала Мищенко на Пинск, настроение Брусилова изменилось. Теперь даже и мешок, который готовил Линзинген Каледину, его не тревожил: правый фланг должны были обеспечить от обхода восемь дивизий левого крыла армии Леша.

Теперь Брусилов дал новый телеграфный приказ «секретно, спешно»: «8-й армии наступать на Ковельском направлении, а прочим армиям выполнять ранее данные задачи».

Ободряло Брусилова и то, что должен был приехать в этот день великий князь Сергей Михайлович, ведавший всей артиллерийской частью в Ставке.

Это был первый знак внимания к делу его фронта с начала наступления. Для Брусилова было ясно, что Сергей Михайлович ехал к нему не по своему личному желанию — что это желание царя познакомиться с общим положением на Юго-Западном фронте, насколько он прочен и в чём он нуждается, чтобы стать ещё прочнее.

Сергей Михайлович приехал в Бердичев вечером. Свита его была небольшая — всего пять человек.

Сухой, исчерна-жёлтый, преждевременно изношенный, не низкого роста, но не по-военному сгорбленный, с небольшим лицом обезьяньего склада, сильно опирающийся на палку, — таков был полевой генерал-инспектор артиллерии, великий князь.

Один из свиты его был генерал-лейтенант, другой полковник, — оба, как

потом узнал от них Брусилов, участники совещания в Минске у Эверта в апреле, после неудачной попытки Западного фронта перейти в наступление.

Вечером, за обедом, основной темой разговора была ревизия действий артиллерии генерала Плешкова, руководителя группы войск Эверта во время этой попытки. Этим особенно интересовался сам Брусилов.

С манерой Сергея Михайловича говорить он познакомился ещё в Ставке. Отвисшая и оттянутая вперёд нижняя губа великого князя, при этом ещё и сильный прищур его неопределённого цвета выпуклых глаз придавали презрительный оттенок всему вообще, чего бы он ни касался в разговоре, а тут тем более подвернулась такая разносная тема.

— Плешков, а? Ну, чего и можно было ожидать от генерала с такой фамилией? — слегка шепелявя, говорил он, покрасневшись несколько от выпитого вина. — Я, помнится, говорил Алексею: — Ох, нельзя верить такому армии, хотя бы она и называлась группой: он её убьёт!.. Так, к сожалению, и вышло: — убил!

— Главкомандующий фронтом должен был знать, выше высочество, кому веряет свои корпусы, — вставил Брусилов, желая перевести разговор на самого Эверта, но Сергей Михайлович почему-то решил обойти щекотливый вопрос, продолжая о Плешкове:

— Представьте вы себе, Алексей Алексеевич, он даже не удосужился объехать по фронту всю свою пружпу, этот Плешков! Оказалось, что у него артиллерия была поставлена так, что стрелять могли только процентов двадцать батарей, остальные же не видели буквально ни аза в глаза!.. Какой же вред могли они принести немецким позициям? Абсолютно ни малейшего!.. И вот там посылали людей ножницами проволоку резать, — то-есть на верную смерть!

Брусилову хотелось сказать, что Плешков в этих ножницах не столько виноват, сколько сам Эверт, но он ждал, кто к такому выводу придёт сам великий князь, однако разговор почему-то перебрался на Паукера, — начальни-

ка управления путей сообщения, который не знал, что в Москве, в тупике, полгода стояла тысяча вагонов с артиллерийскими станками, чрезвычайно важными и нужными для изготовления снарядов.

— Не знал или, напротив, отлично знал об этом Паукер, вот вопрос? — резко спросил Брусилов.

— Даже и теперь, когда дело обнаружено, он всё-таки тянет с разгрузкой их целый месяц, — неопределённо ответил на это Сергей Михайлович.

— А вы знаете ли, ваше высочество, что однажды было у нашего теперешнего наштаверха, когда он ещё командовал Северо-Западным фронтом? — уже не желал сдерживать себя, при виде такой неопределённости, Брусилов. — Там был подобный же транспортник, полковник Амбургер. Алексеев приказывает ему доставить на другой же день к такому-то пункту столько-то орудий, а тот говорит:—Этого никак невозможно сделать! — Тогда Алексеев ему, несколько не повышая тона: — Если завтра к такому-то часу не доставите орудий, я прикажу вас повесить! — И на другой день орудия были на месте, даже на полтора часа раньше срока!

Сергей Михайлович слегка усмехнулся, выпятив для этого ещё заметнее нижнюю губу, и сказал:

— Но ведь там был только Амбургер, а здесь Паукер, — сын бывшего министра! Да и сам он уже метит в министры, хотя по чину всего только коллежский советник.

Об Эверте и его фронте Брусилов узнал от великого князя только то, что львиная доля тяжёлых орудий и снарядов к ним отправлялась и предназначалась к отправке на Западный фронт, однако, когда именно раскачается этот фронт, ничего в Ставке неизвестно.

— Как же так неизвестно, ваше высочество? — буквально опешил Брусилов. — Алексеев, Михаил Васильевич, мне передавал по телефону, что на 15—16 число назначено выступление Эверта?

— Гада-тельно! — прищурился Сергей Михайлович. — Предположительно... С полной возможностью новой оттяжки...

— Вот как-а!.. Значит, что же получилось из всего этого?.. Вот я получаю два корпуса из его войск и два тяжёлых дивизиона, — что же, он со всеми своими армиями, выходит, только резерв для моих армий, для моего фронта, — так ли я должен понять эту ситуацию, ваше высочество? — в упор глядя на Сергея Михайловича, спросил Брусилов.

Вместо ответа великий князь только хрипло расхохотался, поблескивая золотом вставных зубов.

На другой день Брусилов написал и отправил Алексею с нарочным такое письмо:

«Глубокоуважаемый Михаил Васильевич!

Отказ главкозапа атаковать противника 4 июня ставит вверенный мне фронт в чрезвычайно опасное положение, и, может статься, выправное сражение окажется проигранным. Сделаем всё возможное и даже невозможное, но силам человеческим есть предел, потери в войсках весьма значительны, и пополнение необстрелянных молодых солдат и убыль опытных боевых офицеров не может не отозваться на дальнейшем качестве войск. По натуре я скорее оптимист, чем пессимист, но не могу не признать, что положение более чем тяжёлое. Войска никак не поймут, — да им, конечно, и объяснить нельзя, — почему другие фронты молчат, а я уже получил два анонимных письма с предостережением, что ген.-адъютант Эверт якобы немец и изменник и что нас бросят для проигрыша войны. Не дай бог, чтобы такое убеждение укоренилось в войсках.

Беда ещё в том, что и в России это примут трагически, — также начнут указывать на измену. Огнестрельные припасы, скопленные для наступления, за две недели боёв израсходовались; у меня на фронте, кроме лёгких, ничего больше нет, а армии бомбардируют меня просьбами, ссылаясь на то, что теперь борьба начинается ещё более тяжёлая. Вел. кн. Сергей Михайлович, прибывший сегодня сюда, доказал, что у него в запасе тоже ничего нет почти, а всё поглощено Западным фронтом. Но

раз их операция откладывается, может быть, окажется возможным поддержать нас запасами Северного и отчасти Западного фронтов. Во всяком случае, было бы жестоко остаться без ружейных патронов, и это грозило бы уже катастрофой. Пока припасы в изобилии, есть всё-таки надежда, что отобьёмся, а тогда о такой надежде и мечтать нельзя будет. Мортирные 48-линейные также совершенно необходимы.

Теперь дело уже прошедшее, но если бы Западный фронт своевременно атаковал, мы бы покончили здесь с противником и частью сил могли бы выйти во фланг противника ген. Эверта. Ныне же меня могут разбить, и тогда наступление Эверта, даже удачное, мало поможет. Повторяю, что я не жалуюсь, не падаю духом, уверен и знаю, что войска будут драться самоотверженно, но есть известные пределы, перейти которые нельзя, и я считаю долгом совести и присяги, данной мной на верность службы государю императору, изложить вам обстановку, в которой мы находимся не по своей вине. Я не о себе забочусь, ничего не ищу и для себя никогда ничего не просил и не прошу, но мне горестно, что такими разрозненными усилиями компрометируется великий проигрыш войны, и жаль воинов, которые с таким самоотвержением дерутся, да и жаль, просто академически, возможности проигрыша операции, которая была, как мне кажется, хорошо продумана, подготовлена и выполнена и не докончена по вине Западного фронта ни за что, ни про что.

Во всяком случае, сделаем, что можем. Да будет господня воля. Послужим государю до конца.

Прошу принять уверение глубокого уважения и полной преданности вашего покорного слуги. А. Брусилов.»

Послав такое письмо, Брусилов почувствовал себя несколько легче, как человек, который высказал то, что его весьма угнетало.

Великий князь ничего нового ему не привёз, ничем его не обнадежил, не совсем даже было понятно, зачем, собственно, он приехал. Он подтвердил только, что Западный фронт продолжает

усиленно, в первую очередь, снабжать снарядными, хотя пребывает в преступной неподвижности, а это значило, что его будущим действиям придадут несравненно больше значения, чем наступлению Юго-Западного, которое ведётся с полным напряжением сил.

О самом Сергее Михайловиче ему говорили ещё до совещания в Ставке, что он в феврале ездил в Петроград в связи с делом о миллиардных хищениях в его ведомстве и там старался замять это, во всех отношениях, конечно, подлое дело при помощи сенатора Гарина.

В снарядах был недостаток, доходивший до снарядного голода, однако почему же именно? Потому что какие-то тёмные дельцы в недрах артиллерийского снабжения, выполняя, быть может, директивы, шедшие из Берлина, тратили в течение ряда лет перед войною огромнейшие суммы, отпускаемые на приготовление снарядов и орудий, на свои личные нужды; Паукеры, Германь Оттовичи, занимающие не по чинам высокие посты в ведомстве путей сообщения, стремились так далеко запрягать не мало, не много, как целую тысячу вагонов с артиллерийскими станками, чтобы их и за полгода не могли разыскать; а явный рамоли великий князь, даже рассказывая об этом, пребывал в приятном настроении духа.

Ложась в этот день спать, Брусилов был почти уверен, что никакой подготовки к наступлению со стороны корпуса генерала Мищенко на следующий день он не дожждётся. Однако утром 6 (19) июня он получил телеграфное донесение, что рядом с правым флангом армии Каледина у Мищенко началась канонада более внушительная, чем обычная.

Глава третья

ПОСЛЕ БОЯ

1.

Как только 401-й полк выбил упорно защищавшихся мадьяр из Рудни Почаевской, австрийские части, расположенные против 17-го корпуса, сами начали поспешно очищать свои позиции.

Однако отступали они, стараясь соблюдать порядок. Это было не паническое бегство, тем более, что железная дорога продолжала к разъезду Ситно, за несколько вёрст от Рудни, подвозить свежие батальоны, и они, высаживаясь в укрытых большими рощами местах и быстро принимая боевой порядок, прикрывали отход.

Они не дали и тем пяти полкам Заамурской конной дивизии, которые Яковлев ревностно берёт для себя, развернуться как следует на другом берегу Пляшевки. Потеряв в короткое время значительное число людей и коней, полки эти повернули обратно.

Только тот полк из этой дивизии, который удалось выпросить Гильчевскому, сделал своё дело, врубившись в хвост одной из колонн и захватив полторы роты в плен.

Он, правда, тоже наткнулся на сильный огонь прикрытия и вынужден был повернуть назад, однако не с пустыми руками, и партия пленных в сопровождении кавалеристов этого полка была первой, встреченной генералом Гильчевским, едва только он со своим штабом — все на конях — отстучал по свежеперекинутому через реку мосту и выбрался на левый берег.

Когда этот густой и тесный от событий день подошёл уже к четырнадцати часам, — солнце стояло высоко, вражеские снаряды не рвались вблизи, — поле недавнего боя представилось глазам Гильчевского отчётливо и ярко. Впереди стояли несколько человек конников с карабинами в руках, окружив толпу однообразно одетых в синее пленных пехотинцев.

— Какой части? — спросил по-немецки одного из пленных офицеров Гильчевский и услышал, что 46-й дивизии.

— А-а! Старые знакомые! — кивнул Протозанову Гильчевский. — С Иквы сюда перебрались!

Когда от старшего из конвойцев он узнал, что полку пришлось повернуть и выждать дальнейших успехов пехоты, то рассердился и, послав коня вперёд, ворчал:

— Для парадов, для смотров существовать привыкли наши кавалеристы, а чуть коснётся дела, — ни-ку-да! Чуть только попадут под обстрел, сейчас же и покажут хвосты!.. Тогда, спрашивается, за коим чортом у нас кавалерийских дивизий столько? Чтобы лошади зря сено и овёс жрали? Так лучше бы их отправили землю пахать, а людей зачислили в пехотинцы!..

Он ещё негодовал и на генерала Яковлева, не позволившего начальнику дивизии замурцев бросить преследования разбитых австро-германцев хотя бы три полка сразу, а не один, но чем дальше продвигался верхом на своём сером донце, тем больше видел, как жидковаты стали его полки, и это вытеснило на время из его головы и Яковлева, и замурцев.

Полков своих, правда, он не застал на месте боя, — они продвинулись гораздо дальше, — но резко бросилось в глаза очень большое, — небывалое ещё в его дивизии, — число убитых на подступах к неприятельским позициям и тяжело раненных, которые стонали, дожидаясь, когда их отнесут на перевязочные пункты.

Решив в первые минуты, что надо догнать полки, чтобы довести их до разъезда Ситно на речке Ситневке и тем самым не позволить противнику там укрепиться, как это допустил на Пляшевке Яковлев, Гильчевский озабочен был ещё и переправой своей артиллерии на этот берег, о чём он распорядился заранее. Поэтому оглядывал он то, что было взято его частями, довольно бегло.

Однако, когда добрался он до двух лёгких орудий, возле которых Ливенцев, уводя вперёд роту, оставил пять человек, назначив за старшего Кузьму Дьяконова, то остановился.

— Что, а? Орудия?.. Исправные, а?

Дьяконов, застыв на месте, с рукою у козырька, молодежато гаркнул:

— Так точно, ваше превосходительство, вполне исправные!

Он даже при этом поднялся слегка на носки, взволнованный тем, что отвечает самому начальнику дивизии, а

Гильчевский заметил ещё и зарядные ящики и тут же соскочил с коня.

— Вот жалость какая, запряжек нет!.. — горевал он, осматривая орудия и ящики, в которых было несколько снарядов. — За малым дело стало, а то бы пустить этот взвод палить по своим же... На же тебе, — удрали на лошадях, мерзавцы!.. Какой роты?

— Тринадцатой роты, ваше превосходительство! — ответил Дьяконов.

— Тринадцатой? Гм... Кто же там командир роты? — обратился Гильчевский к полковнику Протозанову, который по должности начальника штаба всё обязан был помнить, да, впрочем, и действительно обладал хорошей памятью.

Но Дьяконов не вытерпел, чтобы не похвалиться своим ротным:

— Их благородие прапорщик Ливенцев, ваше превосходительство!

— А-а, Ливенцев! — припомнил и Протозанов.

— Ливенцев, а? Это ведь он же отличился и на Икве? — оживлённо спросил Гильчевский.

— Он самый, — сказал Протозанов. — Мы его внесли в список представленных...

— «Представленных», «представленных», позвольте-с! — перебил Гильчевский. — Теперь уж мы его к георгию должны представить за взятие орудий! «К георгию 4-й степени прапорщика Ливенцева»... Запишите теперь же!.. Вот это молодчина так молодчина!.. Верно ведь, а? — обратился он к Дьяконову и другим четверым. — Молодчина ваш ротный, а?

— Так точно, ваше превосходительство! — довольно согласно, особенно к концу, выкрикнули все пятеро.

Гильчевский тут же вскочил в седло, поглядел пристально в сторону моста через Пляшевку, откуда ждал своей лёгкой артиллерии, и двинулся со штабом и ординарцами дальше, передёрнув недовольно серыми усами, так как ничего не разглядел на этом берегу, а моста отсюда не было видно.

Между тем вдали, за белостенным небольшим фольварком и молодым ду-

бовым леском около него слышна была пушечная пальба, хотя и редкая: оставившаяся только затем, чтобы сделать два-три выстрела и этим задержать преследующие их русские полки, не имеющие артиллерии, батареи противника продолжали свой стремительный отход, теряя на пути снаряды из ящиков.

А Кузьма Дьяконов, когда отъехал шагов на сто, начальник дивизии, раскритически говорил своим:

— Ежели б не мы-то, кто бы доложить мог насчёт пушек, чьи они и что? Стоят и стоят себе, как и допрежь нас стояли, и даже всякий бы мог сказать — похвалиться: — «Это наша рота приобрела!..» А теперь уж шабаш, не скажут. Теперь уж у них записано: «Какая рота? — Тринадцатая. — Какой ротный? — Прапорщик Ливенцев!..» Вот ради чего мы тут пост имели... умно обдуман!

— А как убьют его там? — кивнул один на дубовый лесок.

— Кого это его? — важно спросил Дьяконов.

— Да нашего ротного.

Кузьма посмотрел и сам на лесок, подумал, покрутил головой и сказал убеждённо:

— Нет, не должны они этого сделать.

2.

Пленных вели и вели оттуда, от белых домиков фольварка, куда шла дорога. Синие толпы их так густо заполнили этот берег Пляшевки, что он как бы снова стал австрийским. Запылённые, усталые на вид, пленные смотрели невнимательными, прячущимися глазами. Старшие из их конвоя ретиво командовали им «смирно», когда подъезжал к ним Гильчевский. Он же только спрашивал пленных, какой они части, и направлялся дальше. Его беспокоило, почему не появляется артиллерия.

— Что это значит, а? Не провалился ли мост? — встревоженно спрашивал он, и уже хотел послать одного из своих ординарцев, как увидел, наконец, первую запряжку, за ней вторую...

— Ну вот! Ну вот, — теперь всё прекрасно, — теперь наша взяла!

И он молодецёвато повернулся в седле и хотел было послать вперёд серого, когда пожилой, с сединой в усах унтер-офицер, отделившись от толпы пленных, которых вёл, подошёл заботливым шагом и, козыряя правой рукой, а левой протягивая какую-то серую бумажку, доложил неспеша:

— Ваше превосходительство, вот это один наш пленный оставил у жителей...

— Что такое? Какой пленный? — ничего не понял Гильчевский, беря бумажку.

— Наш пленный, ваше превосходительство, какой у австрийков тут работал, а потом его и прочих угнали дальше, как отступление началось, — объяснил унтер-офицер.

Гильчевский пробежал глазами корявые строчки на сером листке, слегка усмехнулся и сказал:

— Ну что же, — можешь итти.

Унтер-офицер по форме повернулся кругом и пошёл к своей команде, а Гильчевский передал бумажку Протозанову.

Это было письмо, обращённое совсем не к начальнику дивизии, а написанное на-авось, без адресата, притом наспех и на первом попавшемся клочке, неровно оторванном. Вот что стояло в этом письме, в котором попадались иногда большие буквы, но не было знаков препинания:

«Здравствуй товарищ и если где находится живой мой ротный прапорщик Сушилов то передай поклон находимся мы при конях На каждого пленного пять лошадей которые были прежде Молодые австрийцы вобозах то их угнали всех на позицию а пригнали стариков даже есть по 55 лет в австрии Хлеба недостаток то есть совсем все выходит выдают хлеба пониженски три фунта на пять дней а мяса 22 золотника утром получаем каву а вобед суп такой что в нём нет ничего которые австрийцы пришли с Австрии то и те говорят никого не осталось только мальчишки 16 лет еще не взяты а то все под итог мука стоит 8 рублей пуд мясо 50 рублей

я всем говорят что надо мириться так что не робей ребята Елифан Зябрев».

Прочитав это послание, Протозанов улыбнулся про себя, как и Гильчевский, и сказал, пряча листок в карман:

— Приобщим к делу.

Артиллерия мчалась бы лихо, если бы не частые воронки от её же снарядов, испортившие местами сильно дорогу. Никто не убирал тела австрийцев, убитых разрывами и полузасыпанных землёй около этих воронок. Живые заботились пока о живых: о врагах впереди, чтобы их добить, о своих и чужих раненых, чтобы их спасти.

Среди раненых оказались и все ротные командиры четвёртого батальона, за исключением Ливенцева. Но Тригуляев и Локотков, перевязав первый руку, второй — голову, остались при своих ротах, — раны их были лёгкие; а корнета Закопырина санитары унесли на носилках: он был пробит пулей в живот навывлет и потерял много крови.

На то, что он вернётся в строй, не было надежды, как не было уверенности в том, что удастся спасти ноги раненному рядом с ним командиру четвёртого батальона Шангину.

Носилки с Шангиным встретил Гильчевский и остановил лошадь. Два старика несколько мгновений смотрели друг на друга молча. Начальник дивизии не то чтобы высоко ценил торопливого на глазах у начальства, но нерасторопного в бою батальонного, однако теперь, когда его уносили, он вскрикнул горестно:

— Как?! И вы тоже!.. Куда?

— В ноги, — без малейшего подбострастия, обычного для него, ответил Шангин.

Он едва превозмогал боль и закусывал верхнюю волосатую губу прокуренными жёлтыми щербатыми зубами, чтобы не стонать.

— Поправляйтесь... Поправляйтесь скорее, — из желания ободрить не то его, не то самого себя, нарочито отчётливо сказал Гильчевский, дотрагиваясь до козырька фуражки и укорачивая левой рукой повод.

— Не-ет... уж... — слабо простонал Шангин и закрыл глаза.

Пулемётной очередью были перебиты голени обеих его ног. Гильчевский догадался об этом сам, не спрашивая, наклонил голову и дал шпоры донцу.

Укрепления австрийцев здесь, он видел, были гораздо слабее прежних, зимних, на ручье Муравце, и несколько слабее тех, которые были взяты его дивизией после форсирования реки Иквы. Однако целую неделю подарил врагам своим бездействием генерал Яковлев для того, чтобы здесь утвердиться. А дальше, за речкой Ситневкой, показана была на карте река Слониевка, такая же болотистая, как и Пляшевка.

— Нет, гнать и гнать их, чтобы не зацепились, проклятые, за болота! — следя за тем, как вытягивались его батареи, и представляя их там, за фольварком и дубовым леском, энергично говорил Протозанову Гильчевский. — Утонула целая рота, — ведь это что?! Я бы даже и не поверил, если бы кто-нибудь другой мне сказал, что у него в дивизии это случилось!.. Не знаю даже, как доносить об этом...

— Придётся всё-таки донести, — ответил Протозанов.

— И донесём, да, — донесём! Пусть знают!.. Пусть отмечают: проходима или непроходима река вброд, а не так!.. Рота, а! Шутка им? Это — сила!.. И вот бесполезно, дико, глупо, к чертовой матери пошла на дно!.. Донести непременно!

Как только, тщательно считая свои лёгкие орудия, Гильчевский поймал глазами последнее, тридцать шестое, он тут же, вместе со штабом, двинулся им вслед.

3.

Ливенцев не выпячивал свою роту, — он смотрел только, чтобы не отстать от соседей справа, слева и не отрываться от противника.

Перед тем, как оставить взятый ротой участок позиций, он подсчитал своих людей. Не оказалось и пятидесяти рядов во всех четырёх взводах, но он не успел привести в полную известность

своих потерь, — некогда было. Полагал при этом, что порядочно людей пошло с ранеными, кроме того, остались при орудиях, при других трофеях и при пленных, которых скопилось до ста человек.

Так как полк распался надвое и одна его половина, при которой был и командующий полком подполковник Печерский, ушла к станции Рудня, то уцелевший в бою командир третьего батальона, капитан Городничев, должен был принять начальство и над четвертым.

Так рассуждал и именно с этим обратился к нему Ливенцев.

Городничев был невзрачный, низенький человек, с преждевременно морщинистым лицом, с невыразительными глазами, точно сделанными из алюминия.

— Вам, господин капитан, придётся принять командование и над четвертым батальоном, — сказал ему Ливенцев.

— Мне?.. Почему мне? — подозрительно глянул на него снизу одним глазом Городничев.

— Потому что наш командир батальона тяжело ранен, — объяснил Ливенцев.

— Ранен?.. Ну вот.. ранен.. А я тоже ведь не чугунный.

— Поскольку вы, слава богу, живы-здоровы... — начал было Ливенцев, но Городничев перебил его:

— А вы, собственно, передаёте мне приказание командира полка или как?

— Говорю от своего имени, за именем командующего полком поблизости.

— На это должен притти приказ от начальства, — упрямо сказал Городничев и отошёл было в сторону, но Ливенцев пошёл за ним.

— Раз начальства нет вблизи, то принимать команду приходится вам, — это понятно и просто! — начал уже возбуждаться при виде такого равнодушия Ливенцев.

— Нет, это не просто, а смотря, — сделал особое ударение на последнем слове Городничев.

— Что «смотря»? — ничего не понял Ливенцев.

— Смотри по тому, как, — сделал теперь ударение на «как» Городничев.

Ливенцев подумал, не контужен ли он в голову, но спросил всё-таки на всякий случай:

— Что же именно «как»?

— Как вообще сложится.

— Что сложится?

— Обстоятельства вообще.

— Ну, знаете, теперь обстоятельства ясные: надо идти вперёд, и больше решительно ничего!

— Вы, прапорщик, никаких указаний мне давать не можете! — вдруг окрылся Городничев.

— Я и не даю указания, я только советуюсь с вами, как равный вам по положению, — резко отозвался на это Ливенцев.

— Как это так «равный»? — полюбопытствовал Городничев.

— Поскольку я теперь старший из ротных командиров в четвертом батальоне, то я и принимаю командование батальона! — сказал Ливенцев, за минуту перед тем не думавший ничего об этом; такое решение внезапно слетело с его языка, однако и не могло не слететь.

Он до этого дня весьма мало был знаком с Городничевым: во время окопной жизни как-то совсем не приходилось с ним сталкиваться, а с начала наступления тоже не приходилось выходить за пределы интересов своего батальона. Только мелком от других прапорщиков слышал, что он «дуботолк», «тяжкодум», «густомысл» и тому подобное, но не думал однако, чтобы до такой степени мог быть густомыслен командир батальона.

Городничев ещё смотрел на него просительно, тараща алюминиевые глаза, а он уже, круто повернувшись, уходил от него к четырнадцатой роте, чтобы там объявить себя временно командующим батальоном. Потом он послал в пятнадцатую и шестнадцатую роты коротенькие записки: «Вступив во временное командование 4-м батальоном, приказываю подготовиться к немедленному преследованию противника».

Ни от прапорщиков Трипуляева и Локоткова, ни от нового командующего

шестнадцатой ротой, совсем ещё молодого, только что из школы, прапорщика Рясного никаких возражений он не услышал; напротив, везде очень быстро построились люди, и четвёртый батальон первым тронулся вперёд, а за ним пришлось идти третьему: такой порядок, впрочем, был и при форсировании Пляшевки.

Сам он шёл со своей ротой, выслал вперёд патрули.

Горячий командующий второй половиной 401-го полка, в помощь которому посланы были оба батальона, повёл своих вперёд, как будто даже забыв в пылу боя о присланных ему же на выручку частях 402-го полка. Так объяснял самому себе Ливенцев то, что оба батальона оказались без спасительного попечения о них начальства.

Местность впереди была очень удобна для защиты, и предосторожность в виде цепочки патрулей оказалась необходимой: уже перед первой опушкой молодого леса началась перестрелка, и тринадцатую роту пришлось спешно рассыпать в цепь, задержав на время продвижение остальных.

Ливенцев был рад, что уцелел Нежипелов: сибиряк был не зря кавалером всех четырёх степеней солдатского георгия, — он был распорядителем в бою, и Ливенцев знал, что он хорошо будет вести роту, во всяком случае гораздо лучше, чем Локотков, а тем более Рясный. Тригуляев же хотя по натуре был сообразителем и скор на решения, но теперь, после ранения оставшись в строю, мог и потерять половину этих своих природных свойств.

4.

На фронте более чем в 25 вёрст наступление вели части обоих корпусов — 17-го и 32-го, и к вечеру весь левый берег Пляшевки, берег холмистый и лесистый, на десять, на пятнадцать вёрст в глубину, с деревнями Иващуки, Рудня, Яновка и другими, с несколькими фольварками и господскими домами в имениях, был прочно занят; но и авст-

рийцы, благодаря свежим частям, задержавшим продвижение русских, успели всё-таки отвести остатки своих разбитых полков за реку Слониевку.

Все старания Гильчевского помешать им в этом не достигли цели. Пришлось дать дивизии вполне заслуженный отдых, чтобы она привела себя в порядок и подсчитала свои потери. Эти потери оказались велики: треть офицеров и до трёх тысяч солдат вышли из строя.

— Никогда ещё не теряла моя дивизия столько людей! — ошеломлённо говорил Гильчевский.

Он по числу убитых, тела которых видел на позициях австрийцев, предполагал, что потери должны быть серьёзны, однако оценивал их на-глаз гораздо ниже.

Несколько упорных боёв подряд сильно растрепали полки. Даже когда Гильчевскому доложили общую цифру взятых дивизией в этот день пленных — свыше четырёх тысяч человек, — он не утешился. Он говорил:

— Пленные, пленные... Что из того, что их четыре тысячи? Я их в строй вместо своих солдат не поставлю, — да не захотел бы таких и ставить... А дивизия теперь почти уж не боеспособна... Какая же она теперь дивизия? Её вперу в бригаду свести!

Перед тем, как дать полкам отдых и ночёвку, он всё же объехал их, чтобы поздравить с победой, поблагодарить за службу. При этом Ливенцев встретил его, как временно командующий батальоном, объяснив, что присвоил себе этот пост самозванно.

— И хорошо сделали, отлично, — отозвался на это Гильчевский. — Так и командуйте себе батальоном и впредь, — объявлено будет об этом в приказе по дивизии... А за орудия, вами захваченные, получите награду.

Ни с кем из младших офицеров не говорил в этот вечер так долго Гильчевский, как с Ливенцевым, и расстались они ещё более довольные друг другом, чем это было месяца три назад.

(Продолжение следует.)

21 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА

С. МАРШАК

★

Встало солнце огневое,
И, снежком пыля,
Зимний холод тронул хвою
У стены Кремля.

Часовым пора смениться —
И звенит земля
Перед Ленинской гробницей
У стены Кремля.

Эту поступь слушай, Ленин,
И уверен будь:
Неуклонен, неизменен
Наш победный путь.

Слушай весть освобожденья
С Дона и Донца.
Ленинград ломает звенья
Вражьего кольца.

В день священной годовщины
Отступает враг.
В первых сёлах Украины
Вьётся красный флаг.

У бурливых вод кавказских
И в степи родной
Палачей в немецких касках
Мы тесним стеной.

Пред могилой полководца
Клятву мы даём:
Будем яростней бороться
За тебя с врагом.

Отстоят твоё наследье
Верные войска.
Их ведёт вперед — к победе
Сталина рука.

ГОРЫ И НОЧЬ

Рассказ

ВЛАДИМИР КОЗИН

★

Мы выехали на разведку втроем: лейтенант Курбанов — туркмен из текинского оазиса Геок-Тепе, казанский татарин — рядовой конник Торпышев и я — военный корреспондент.

С детства я привык к седлу и был согласен на любое военное путешествие, лишь бы мне дали весёлого коня. Такого я получил. Подо мною шёл карабахский жеребец Шамиль.

Карабахская порода лошадей вымерла, но некоторые нечистопородные представители её сохранились. Шамиль был золотистой масти, в «чулках» и с прочиной во лбу; сильный и способный конь.

Под Курбановым шёл англо-дончак. В горах высокая лошадь не всегда удобна, она не так устойчива, как низконогая, но Курбанову нравились сухие длинноногие кони, похожие на ахалтекинских. Под Торпышевым был тёмноногдой киргизский иноходец, незаметного вида, резвый и злой, как пограничный пёс.

Мы выехали под вечер, имея задание пройти через горы и разведать отдалённый равнинный лес, занятый немцами.

От штабного аула выючная тропа спускалась в просторное ущелье, наполненное шумом узкой реки; этот горный шум то нарастал, то плавно затихал, и тогда становилось слышно, как изпод конских копыт далеко катятся камни. Спуск был крутой; лошади спускались, приседал, потом сели на круп и

начали скользить вниз вместе с каменной осыпью. Мы слезли с седел и повели коней в поводу.

Впереди шёл конник Торпышев. Всю свою жизнь он прожил с лошадьми в разных республиках Союза, хорошо понимал лошадь и знал отчасти коннозаводческое дело. В армию его призвали с Московского ипподрома, где он работал старшим конюхом. Мы вспоминали с ним разные незабываемые случаи и программы бегов. Лейтенант Курбанов спускался молча, ловко минуя скалы и опасные россыпи.

Южный склон ущелья был голый; солнце и скалы. Противоположный северный склон был красен от трав, выгоревших за лето; местами на нём зеленели горные покосы; по всему склону росли цветы, жёлтые, лиловые, оранжевые кустарники, тёмнозелёные ели, и лёгкие тени вечерних облаков бродили по этому склону; он был цветущим от синего неба до подножья, до длинной сверкающей реки.

Киргизский иноходец Торпышева и мой карабах уверенно, наискось, против воды, пересекли горную реку; стремительная вода доставала брюхо коней и катила по дну камни. Англо-дончак Курбанова долго нюхал у берега воду, потом пугливо бросился за нами. Мы стали подниматься.

Северный склон был отвеснее южного. На середине склона мы спешились. Подъём был очень крутой. Торпышев, за ним и я взялись за хвосты лошадей.

Курбанов этого не сделал. Он привык к пустыне, у него были свои благородные предрассудки.

— Джума, — сказал я ему, — так вы, пожалуй, задохнетесь!

— Пусть конь не задохнется, — ответил он мне через минуту, переведя дыхание, — моё дело второе!

Мы поднялись и увидели солнце, заходящее за наш штабной аул. Он был близок от нас, — через ущелье, — и уже далеко. Мы уходили от него в иные горы, вершины и скалы; они синели напротив низкого солнца.

Оно быстро закатывалось. Я испытал знакомое чувство. Мы уходили в опасность. Это наш долг. Каждый день живёшь новою жизнью, но к этому никогда не привыкнешь. Мы уходили в одиночество. Впереди — неизвестность, и мы — втроём.

Мы взглянули ещё раз на знакомую даль под неярким солнцем и повернули коней.

Впереди поехал Курбанов. Мы миновали казачий дозор. Казаки и тихие их кони были скрыты в высоком кустарнике, за красной скалой. Англо-дончак Курбанова прянул в сторону и присел, упершись передними ногами в каменную землю, когда скала громким шопотом спросила у нас пароль. Курбанов спокойно ответил и огладил коня.

Из-за скалы вышел сержант Курулейко — кубанский казак, силач с медленной улыбкой на детском крупном лице, насмешник и плясун. Мы поговорили. На прощанье он сказал нам:

— Привезите яблок побольше!

Красная скала осталась позади нас. Стало темнеть, и с дальних снежных вершин пошёл нам навстречу свежий воздух. Вершины посинели и начали исчезать в близкой ночи. Ближние бесснежные горы сделались крупнее и придвинулись к нам. Мы накинули бурки и притихли.

Начиналась ночь.

Беспокойная тропа делалась незаметной; над ней ясно были видны голубые искры, высекаемые о камни конскими подковами. Я ехал последним.

Передо мною, в вечерней полутьме ровно покачивался сытый круп киргизского иноходца. Впереди него резво шёл Курбанов. Тропа тянулась под склон.

Начинался лиственный влажный лес; неожиданные, вдруг совсем близкие стволы дубов и буков, мягкий шелест копыт, длинные ветки — по седлу, лицу, груди. Я надвинул на голову кубанку. Ветви, раздвигаемые передними всадниками, сильно били по мне. Я нагнулся к шее коня.

Курбанов умело и спокойно вёл нас за собой. Он слегка знал эти горы.

Лес стал редеть и кончился. Мы рысью вышли на травянистое плоскогорье. Запахло молоком и тёплой шерстью. Вблизи невидимое покоилось стадо, и псы не лаяли, и незаметен пастушеский вечерний огонь. Жизнь в горах была затемнена. Даже звёзды не зажглись на небе.

Небо прижималось к плоскогорью, огромное и тяжёлое. Лошади пошли шагом. Мы стали спускаться. Чёрный воздух ущелья стоял недвижимо. Пахло буркой и конским потом.

Торпышев приостановил коня и сказал мне:

— Кажется, мой Рыцарь потерял подкову!

— Ничего, у киргизских коней копыта крепкие!

— Самые крепкие копыта у наших туркменских и омудских лошадей! — сказал Курбанов. — Они доказали это, когда шли конным пробегом из Ашхабада в Москву, через пустыню Кара-Кум!

Мы стояли на дне ущелья и поили коней. Строгий поток шумел сквозь ночь, не переставая, и вдруг высоко в стороне мы услышали ясный раскат грома.

— Не во-время! — сказал Торпышев и посмотрел на небо. Оно было чуть видно над краем ущелья.

— Не успели добраться до немцев! — сказал Курбанов и сел в седло.

Мы торопливо поднялись из ущелья. Вьючная тропа осторожно потянулась

вдоль него, изгибаясь и пропадая на крутых поворотах. Справа от нас выросли скалы. Вершин их не было видно. От скал шло тепло.

Скалы стали сплошными, бесконечными и согнажи тропу к самому краю ущелья. Лошади пошли несмело. Вперёд выехал Торпышев.

За первым поворотом нас ослепило вдруг молнией. Я увидел каменную тропу под скалами, бурки товарищей и конские хвосты, мгновенно освещённое ущелье с далёкими призрачными елями и перемешанные горы вдали. Тотчас же стало черно вокруг, и над нами прорвался через всё небо продолжительный гром.

Скалы притихли. Они ещё более приблизились к ущелью. Краем бурки я стал задевать за них. Мой карабах весь поджался. Впереди ничего не было видно. Я скорее угадывал глазами хвост киргизского иноходца, чем видел его. Не слышно было за плечами и дыхания англо-дончака. Я оглянулся, и в это время над нами возникла вторая молния.

Она была медленная, толстая, низкая, правильно сломанная. Её можно было внимательно разглядеть.

Острым концом она ударила за нами в дно ущелья, и сейчас же горы и ущелье стали громом. Он оглушил нас и лошадей. Я успел увидеть, как испугался конь Курбанова. Он замер, потом вытянулся весь вперёд передними ногами и прыгнул на моего карабаха. Карабах взвизгнул, остановился и ударил задом.

— Осадите своего дончака! — крикнул я Курбанову. Дончак впился зубами в круп Шамиля.

Третья огромная неторопливая молния осветила всё. Торпышев остановил своего коня, и Шамиль набросился на него, продолжая бить задом. Дончак взвился на дыбы.

Молния исчезла, карабах повернулся на покатой тропе, я сильно ударился плечом и правым коленом о скалу, новая молния косо остановилась над нами, и я увидел над своєю головою ко-

пытга дончака. Прыгать с седла было некуда: отвесные скалы справа, слева — невидимое ущелье.

С его отдалённого дна донёлся тихий шум потока, гром разорвал над нами небо, и я прыгнул с седла среди грома. Одна моя нога скользнула в пустоту ущелья, я упал на живот поперёк тропы и удержался. Повода из руки я не выпустил.

Курбанов с остановившимся лицом смотрел на меня с высоты своего седла.

— Слезайте и вы! — крикнул я ему снизу, с тропы.

Торопливая горная гроза с большими стоячими молниями продолжалась над нами. Курбанов оглаживал своего коня, конь дрожал и поднимался на дыбки. Я повёл своего карабаха в поводу, держась правой рукой за выступы скал.

Торпышев тоже спешил. Курбанов оставался сидеть в седле.

— Почему вы не слезаете? — спросил я его.

— На седле мне спокойнее! — сказал Курбанов. — Но вы — молодец, удачно прыгнули!

Тропа падала вниз всё круче. Ноги начали скользить. Молнии стали отдаляться от нас, и свет их был уже не лиловым, а белым, ослепительным вдали, а не в глазах. Гром катился по небу непрерывно, как горный поток.

На лицо мне упали крупные капли — и перестали падать.

Ливень ударил сразу.

Поток высоким валом рвался среди камней и скал по ущелью. Вода разливалась за русло. Мы остановились.

В неживом и ярком свете молний видны были белая пена, чёрные ворочки и камни. Ливень бил по чёрной и белой воде, по камням, скалам, по лошадям и буркам. Лошади стояли тихо и тяжело дышали; ущелье запахло сырою шерстью бурок. Опромные камни мягко стучали в потоке. Вода росла.

Сквозь близкие раскаты грома стал слышен отдалённый, непрерывный, нарастающий гул.

— Силь! — сказал Торпышев и под-

нял испуганную руку, прислушиваясь.

— Силь! — повторил я и очутился в седле, не запомнив, как сделал это.

— Силь! — крикнул Курбанов и бросил коня к потоку.

— Не успеем! — закричал Торпышев.

— За мной! — пронзительно крикнул Курбанов.

Мы ворвались в поток. И молнии, и гром, и ливень стали нам незаметны. Великий шум потока охватил нас.

Вода неслась через камни. Она обдавала нас брызгами, но мы ничего не видели сквозь ночь и ливень. Глухо, мягко и грозно проносились по дну большие камни.

Карабах провалился, вода перекатилась через седло. Всё стало одною мыслью: скорей прорваться через поток, к берегу.

Мой карабах шёл первым. От его хвоста не отставал Торпышев. Англо-дончак перестал бороться против сильной воды, он шёл прыжками прямо на берег, проваливаясь и теряя дно; его носило.

Карабах выскочил на прибрежные камни, за ним — киргиз. Мы повернули лошадей к реке.

Англо-дончак сделал высокий прыжок и длинной тенью вырвался на берег, в стороне от нас.

Мы ударили коней и поскакали на крутизну, обросшую кустарником.

Молния остановилась над нами, и мы увидели силь.

Где-нибудь далеко среди вершин, в котловине, скопилось от ливней незаметное глубокое озеро. Последний ливень переполнил его, озеро прорвалось и покатилося вниз, в ущелья, всё срывая и унося с собою на своём внезапном пути.

В долгом свете молнии мы увидели высокий вал, вставший поперёк ущелья. Горный поток шёл стеною, с ровным гулом, гоня перед собою низкую воду, камни и деревья, вырванные с корнем.

Стена воды прошла мимо нас, у наших ног, и поток, крутясь, заполнил ущелье. На выгнутой спине потока неслись пни с корнями, сучья, переплетён-

ные стоячие деревья, вертящаяся жижица, трупы овец, собак и зверей.

Молнии не остывали на небе, но грома не было слышно за гулом потока.

— Во-время мы рванулись! — сказал Торпышев и повернул к Курбанову голову своего коня. Я почувствовал к лейтенанту большое уважение.

Силь может продолжаться часа три и дольше. Ущелье занято потоком. Если бы мы остались на том берегу, мы не могли бы выполнить задания.

Курбанов стряхнул с кубанки воду, поправил на себе бурку и тронул коня. Ливень продолжался.

— Ещё одна минута, — сказал мне Торпышев, — и были бы мы на том свете вместе с нашими лошадками!

За ущельем начиналось покатоое каменистое плоскогорье. Из ночи навстречу нам подул ветер. Ливень стал козым.

Курбанов торопил коня. Гроза уходила прямо перед нами — туда, куда ехали и мы.

Промокшие ноги начали стынуть. Сёдла были мокрыми.

Гром раскатывался всё отдалённое, и молнии становились тонкими. Плоскогорье сужалось. Мы выехали на хребет, и лошади пошли шагом.

Ветер с ливнем стал сильнее. Я ничего не видел впереди и опустил поводья.

Хребтовина делалась всё уже. Справа и слева от себя я чувствовал огромную пустоту.

Курбанов остановил коня.

— Надо итти пешком! — спокойно сказал он, и я услыхал, что он слезает с седла. — Едем, словно по кинжалу!

Я слез с коня и в тот же момент понял, что итти не смогу. Глаза мне были не нужны: я не видел ничего. Я нагнулся, ладонью пошарил по сырому хребту, поднял камень и уронил его с вытянутой руки.

Камень исчез без звука. Без звука исчез камень и с левой руки. Я снял бурку, ощупью приторочил её к седлу, опустился на колени и пошел вперёд, руками ощупывая края хребтовины.

— Вы тронулись? — крикнул сзади

Торпышев, и по звуку его голоса я понял, что он тоже ползёт.

Так мы ползли два часа, может быть, час. Ветер сдувал нас с хребтовин; казалось, что узкая высочайшая гора чуть покачивается; кони робко храпели над нами.

Гроза спокойно ушла. Мы ползли в мягкой тишине. Ливень стал прерывистым и перестал, словно его и не было. Тишина поднялась к небу.

Хребтовина начала спускаться.

Под ладонями стали попадаться сучья и веточки. Ладоням было больно от них и приятно.

Над головой зашумела первая рослая ель, и в сплошной темноте небо показало нам далёкую одинокую звезду.

Сосны и ели не покидали нас. Мы перешли на коленях плоский невидимый поток, ощупывая его дно сбитыми руками, и вывели коней на травянистый скат.

— Вылить воду из сапог, отжать шерсть на конях! — сказал нам Курбанов, и по его спокойному властному голосу я понял, что уже не далеки равнина, утро и враг.

В лиственные леса мягкого предгорья мы вошли на рассвете, в тумане.

Лес и покатые вершины плыли мимо нас, как во сне, лишь видны были под ногами толстые корни, влажные камни и сырая тропа. Предутренний ветер понёс туман перед собою, он разорвался наверху и стал неслышно и необычно расплзаться вокруг нас.

Мы выехали на окраину леса. Лес оказался под нами. Туман покрывал всё внизу, ничего не было видно сквозь него, только призрачно темнели вершины отдалённого низменного леса. Небо над нашими головами было чистым и чуть рассветало; разорванный туман продолжал нестись у наших ног и порою окутывал нас серою плотною сыростью, и тогда не видно было даже конской головы, и казалось, что сидишь на безголовом коне.

— Теперь близко! — сказал Курбанов. Мы осмотрели оружие и подтяну-

ли подпруги. Курбанов направил коня вниз, в туман.

Тропа осталась в лесу. Кони неслышно ступали по скользкой траве. Мы вошли в туман, и мне стало спокойно, даже весело, словно мы спрятались ото всего мира: нет нигде такой тишины, как в плотном оцепенелом тумане.

Я не видел Курбанова, но мой карабах чувствовал англо-дончака и уверенно шёл за ним. Мы долго спускались. Внезапно карабах остановился, и я услышал, как скрипнуло седло Курбанова: лейтенант слез с коня. Я спешил. Лейтенант сказал мне:

— Останетесь коноводом! Будьте наблюдательны! Коней спрячьте в кусты. Мы скоро вернёмся.

Сердце у меня забилося. Я обнял лейтенанта и Торпышева. Они исчезли в тумане, словно провалились у самых моих ног.

Я остался один.

Три оседланных послушных коня стояли надо мной; выше них стоял туман. Я сидел на красном ярком корне сосны, среди призрачного кустарника.

Я — и лошади; мы слушали тишину утра, и странное, обширное чувство начало овладевать мною — и овладело, когда туман поднялся и ушёл к дальним соснам.

В далёкой тишине, на утренних невидимых равнинах, в рассвете тумана я услышал битву, и уши коней были направлены к той отдалённой стороне, которую я слушал.

Битва. Или нет? И кони напрасно слушают её неясное величие, победу среди смерти, гул и страх сражения?

Она была! Туман уходил от нас всё дальше, он полз в светлую бесконечность, и битва поднималась ко мне с великих равнин, в неясном звоне и тишине, и я не был самим собою: я был — Курбановым и Торпышевым, и я умирал за них, хотя, может быть, они не умирали.

Я слушал лесное, горное утро, мёртвую тишину далёкой предгорной равнины и гладил строгие рыжие ноги англо-дончака. Курбанов! Джума Курбанов! Возьми моё самое любимое, что

ни есть у меня на советской земле, — возьми, только вернись с победой и останься живым! Слышишь, Джума? Если это можно, останься живым!

Ну, что есть во мне? Любовь?

Я любил. Я любил девушек, потому что они были чисты и строги: на большой земле они родились и выросли. Я любил страну своих трудов и мечты; я любил её трудное величие: рождённая однажды среди величественных тревог, столетних надежд, в народных лишениях и счастливых битвах, — моя страна стала страной мира.

Я смотрел на далёкий туман среди плывущих сосен и шатающихся скал, сломанных обвалами тумана; я смотрел в туманную горную даль и думал: пусть моя большая тревожная любовь спасёт Курбанова; пусть она сохранит от смерти простого человека Торпышева.

Если бы любовь могла что-нибудь сохранить!

Туман ушёл совсем, и показалось солнце. От великих равнин под моими ногами поднимались к солнцу прозрачные испарения; казалось, бесконечная равнина поднимается ко мне.

Я сидел в оцепенении.

Англо-дончак первый почувал новое в нашей тишине и застыл. Я стал за сосну. Я смотрел далеко вниз — как смотрят однажды: я смотрел всем сердцем. Во мне ничего не осталось. И я не заметил Курбанова: он подполз к моим ногам. Его чёрные глаза были огромны, по щеке широко текла кровь.

Он начал медленно подниматься на колени, обеими руками схватившись за стремя своего седла.

Я помог ему:

— Ранен?

— Ранен! — шепотом ответил мне Курбанов — и, обернувшись, тихо позвал:

— Торпышев!

— Есть! — слабым чудесным голосом ответила нам близкая сосна, обросшая камнями и мхом; у сосны родился Торпышев. Он полз, подталкивая перед собою пленного немца.

Спустившись в равнинное предгорье, Курбанов и Торпышев попали к началу танковой битвы.

Они прошли через дубовый подлесок на обширном холме, остановились у дорожной просеки и увидели зайцев. Пожилые и молодые зайцы неслись по открытой просеке; над ними быстро и низко летели ястребки. За зайцами неслышно, длинными, рыжими тенями промчались косули в беспорядке и смятении: подростки скакали впереди, старики и старухи — сзади. За косулями промелькнуло несколько лисиц, за ними — стадо коз.

Курбанов и Торпышев попали в горный заповедник. Непуганые звери спасались от войны.

Конники услышали и увидели её, выйдя на опушку дубового подлеска. Перед ними расстилалась, спадая, большая чистая равнина. Из-за лесочка стреляла батарея. Над головами конников с мягким свистом проносились снаряды, и чёрные взрывы возникали среди равнины, ближе к дальнему отчётливому лесу. С возвышенной стороны равнины поднимались дугою, одна за другой, в направлении леса, белые ракеты — указатели цели — и там, где падали ракеты, низко разрывались мины. С другой стороны равнины, от горящего хутора, били по лесу, не останавливаясь, станковые пулемёты, противотанковые ружья и автоматы. Над зелёной отрядной равниной стояли крупный и мелкий пулемётный стук, свист, высокие и низкие разрывы.

Из леса на равнину шли немецкие танки; за ними покорно бежали автоматчики.

Над равниной поднялись красные ракеты, и встала неожиданная полная тишина. Она продолжалась мгновение. Из оврага, невидного за дубовым подлеском, вышли русские танки.

Дальний синий лес ударил по танкам артиллерийским и миномётным огнём. Немецкая мина разорвалась на опушке дубового лесочка, Курбанов упал, Торпышев бросился к нему.

Осколок мины срезал у Курбанова каблук и пятку, другой осколочек оца-

рапал ему щёку. Торпышев поднял лейтенанта и хотел взять его на спину, чтобы унести подальше, за лесок.

— Нет! — задыхаясь от боли, сказал Курбанов. — Смотри!

Земля и лес вздрогнули. Близко раздался сильный взрыв, деревья застонали и затрещали, мягкий воздух ударил Торпышева, его осыпало землёй, листьями, ветками.

Он быстро опомнился и отряхнулся. Лейтенант сидел, полузасыпанный. Торпышев прислонил его к молодому стволу.

— Смотри! — шепотом повторил лейтенант.

Торпышев оглянулся. У опушки, как чёрное привидение, стоял немецкий танк.

Он стоял так близко, что тёплый воздух от его разгорячённой брони достиг Торпышева. Торпышев упал на траву рядом с Курбановым. Поля битвы он больше не видел: танк заслонил равнину.

Люк танка приоткрылся. Показалась немецкая голова. Немец, озираясь, вылез из люка, спрыгнул вниз, и Торпышев увидел, что гусеница танка висит, как незатянутая подруга. Из люка показалась вторая немецкая голова: глаза прищурены, рот полуоткрыт, и на толстом лице — полное отсутствие мысли. За этой откровенной головой, развеселившей Торпышева, показалась третья — розовая и неожиданно чистая.

Два немца склонились над гусеницей. Третий, свесившись из люка, давал им советы, торопливо указывая пальцем.

— Обойди танк и возьми! — шепнул Курбанов на ухо Торпышеву. — Я пристрелю остальных. Скорей!

Торпышев прополз через густую траву и лесную поросль, обогнул танк, приблизился к нему с другой стороны, на коленях поднялся к люку и схватил сзади немца за горло обеими руками. Немцы, возившиеся над гусеницей, вздрогнули и выпрямились. Курбанов выпустил по ним очередь из автомата.

Битва на равнине продолжалась. Другой немецкий танк катился к дубо-

вому подлеску. Думать было некогда. Торпышев бросил гранату в люк остывающего танка, взял на спину Курбанова и погнался перед собою пленного немца.

Я забинтовал лицо Курбанова. Торпышев разрезал ему сапог. Мы перевязали ногу лейтенанту и помогли ему сесть на коня. Курбанов сказал мне:

— Возьмите немца!

Я посадил пленного немецкого офицера перед собою, на седло.

Он был зелёный, в чистой форме, завернутый в испачканную зелёную плащ-палатку; на ногах — ковровые расписные носки — горские «джурапки»; сапог на нём не было; наверное, ему было удобнее сидеть в горячем танке в одних мягких шерстяных чулках.

«Джурапки» были яркие и длинные, немцу по колено; женский простосердечный узор на них был строгим, без пороков.

С чьих ног, живых или мёртвых, стянул эти ласковые «джурапки» немецкий офицер-бродяга, розовый и зелёный, как вонючее мясо?

— Породистый немец! — деловито сказал мне Торпышев. — У него на груди — чёрный железный крест! Креста я не коснулся: пусть так и едет в наши горы со своим отличием!

Смятая пилотка была надвинута немцу на лицо; перед моими глазами покачивался, в лад конскому шагу, немецкий открытый затылок; он был беловолосый, с розовой грязной кожей под волосами. Руки немца были связаны тонким кавказским ремешком с червлёным серебряным набором. От пленного пахло сырою землёю, бензином и бараньим салом: перед битвой он, наверное, сытно закусил в какой-нибудь сакле, обсосал не одну большую баранью кость, держа её обеими руками.

Когда мы перевалили через первый мягкий хребет, поросший лесом, стало ясно, что Курбанов не может сидеть в седле. Он покачивался не в лад коню, сползал с седла и поправлялся, схватившись за гриву коня, и через несколько шагов сползал вновь.

— Остановимся, вы отдохнете! — крикнул я Курбанову.

— Нет, — сказал он, — мне нельзя: я больше не встану!

Он ударил коня туркменскою камчой, потом ударил второй раз — слабее — и медленно прилёг на конскую шею. Конь стал, смиренно опустив шею.

Торпышев соскочил с седла, отдал мне повод своего киргиза и сел на круп англо-дончача, сзади Курбанова. Одной рукой он обнял раненого лейтенанта.

Так мы доехали до второго перевала — вчетвером на двух конях, третий шёл без всадника, позвякивая пустыми стремянами. Когда мы спустились с хребта и далеко впереди нас открылась лесная долина, Курбанов уронил вдруг голову, как сонный ребёнок; тело его обвисло в руках Торпышева.

Я спрыгнул с карабаха, положил на траву, перед своими глазами, пленного немца и снял с седла Курбанова. Торпышев принёс в походной торбочке ключевую воду — такую светлую, что на дне торбы видны были зёрна ячменя. Курбанов очнулся, долго смотрел на немца и сказал чуть слышным властным голосом:

— Я решил: военному корреспонденту смотреть за мною и за пленным! Торпышеву скакать в штаб, сдать дознание!

Курбанов прислонился головою к стволу дуба и закрыл глаза. Пленный немецкий офицер лежал на траве навзничь, словно крупная зелёная кукла.

Кукла голубыми неподвижными глазами смотрела в небо: на небе были солнце и облака, и дальние тучи с ослепительными просветами; на нём было всё, что дарит жизнь. Трава пахла мёдом, как пьяная; и толстые шмели казались пьяными; вершины сосен спокойно ликовали среди голубого солнца.

Повязка на лице Курбанова розовела; розовое пятно протянулось вниз; две зелёные мухи остановились над головой лейтенанта.

Торпышев подошёл к нему.

— Я приказал вам скакать! — прошептал Курбанов, открыл глаза и закрыл их.

Торпышев подошёл к своему кирги-

зу, подтянул подпруги и оглянулся на лейтенанта. Его лицо было не смуглым, а серым; повязка всё сильнее розовела. Торпышев шепнул мне:

— Устройте товарищу лейтенанту носилочки между сёдел и везите полегоньку. Я вернусь за вами.

Он поправился в седле, нагайкой ударил коня, прошелестел меж ветвей и неслышно скрылся за деревьями.

Я вынул из ножен клинок Курбанова, срубил два длинных дерева, много сучьев, веток и стал устраивать носилки. Курбанов оживился и привстал. Его советы были очень деловыми, словно ему не раз приходилось устраивать конные носилки. Я сказал ему об этом. Он чуть улыбнулся и ответил:

— Мой отец и дед были кочевниками!

Я прикрепил готовые носилки к сёдлам. Кони стояли смиренно, особенно мой карабах: он — вспыльчивый, но понятливый, ласковый конь. Может быть, кони были спокойны потому, что устали. Я затянул носилки двумя бурками.

Мне легко удалось поднять Курбанова, довести до носилок и уложить: его разбитая нога раздулась; я опять остудил её ключевой водой.

Курбанов без стога лёг и вытянулся на носилках; его лицо было мокрым; в страстном напряжении он прокусил себе нижнюю губу; она кровоточила.

Я выгтер Курбанову лицо и положил ему под голову длинный пучок травы.

— Спасибо! — устало сказал Курбанов, и я удивился, потому что у туркменов не принято благодарить.

Мы тронулись.

Над головой Курбанова возвышалась умная неспокойная морда его англо-дончача; ноги лейтенанта были вытянуты к хвосту моего карабаха. Я вёл его в поводу; в правой руке я держал пистолет: впереди меня шёл пленный немец.

Мы долго спускались ко дну ущелья: дальний шум потока был свеж и радостен.

В ущелье наступал вечер; солнце уже не касалось его широкого дна. Я осторожно завёл коней в поток и поставил их вдоль берега; они с удовольствием,

не торопясь, пили быструю воду; потом разом подняли головы, посмотрели на другой берег, глубоко вздохнули и опять стали пить.

Курбанов спокойно лежал над потоком на гибких носилках и смотрел в небо, слушая ровный протяжный шум воды; половину неба занимали высокие тучи, освещённые снизу невидимым солнцем; половина была голубой, лёгкой, как птица; небо всё светлело, вечером, и хотелось: стать ничьим, растворённым, просторным; стать бы лёгким, как небо!

Кони напились, но пленный не хотел итти в поток; он отмахивался рукой от высоких камней и стремительной воды; сорвал с себя железный крест и бросил его в середину потока; присел на влажный прибрежный камень и закрыл лицо ладонями. Я не знал, что мне делать с ним, и окликнул Курбанова. Курбанов сказал:

— Посадите немца на моего коня!
Мы переправились через реку.

Навстречу нам вышел из-за деревьев старик. Он молча приветствовал нас, оперся на толстую палку и стал внимательно нас разглядывать. У него был такой странный вид, что пленный немец боязливо отошёл от него в сторону, бормоча:

— Дервиш, дервиш!

Старик мне показался человеком высокого роста. Потом, когда я присмотрелся к нему и привык, я заметил, что старик очень невысок. Его лицо было необычайным; казалось, что такое лицо не может быть у маленького роста человека. Судите сами: посреди лысого длинного лица блестел нос — огромный и чуткий, с обширными ноздрями.

— Таких стариков я никогда не видел! — сказал Курбанов, чуть улынувшись, и я обрадовался этой потерянной улыбке, как счастью, когда его уже и не ждёшь; я обрадовался и небывалому носу доброго старика; старик пересек две вершины, чтобы найти и встретить нас. Торпышев на скаку заметил его у старой колхозной мельницы, в светлом ущелье, остановил коня и сказал старику, чтобы он уберёг от ночи и опасности раненого командира.

Старый Джембот не стал звать колхозников, занятых в кукурузной долине, по другую сторону горного хребта, взял палку, свой древний топор и пошёл прямо к дальнему месту, указанному конником; старик всю жизнь был дровосеком в родных лесистых горах — и стал мельником, когда его руки и глаза постарели.

Через час мы были у мельницы.

Оживлённые закатом облака медленно спускались по склону, в ущелье; сбоку неживое стояло солнце; оно освещало склоны зелёных пастбищ под облаками таинственным светом.

По вечернему ущелью стлался кизячный дым; далеко внизу, под облачными вершинами, кричали деревенские петухи; казалось, близкие облака пахнут кизячьим дымом и зимним воздухом. На тропе, ведущей к мельнице, среди высокой травы, стоял под облаком другой маленький старик. Всё у него было детским: руки, ноги, лицо, нос. На голове — громадная нарядная папаха; из-под кудрявой папахи — строгий, чуть надменный взгляд. Он деловито, ничего не говоря, подошёл к нам и очень ловко помог опустить носилки с Курбановым на влажную траву.

Мы внесли Курбанова в каменную мельницу. Я вышел помочь Джемботу убрать коней. Облака спускались. Когда мы устроили коней в каменном сарайчике и пошли к мельнице, облака спустились на траву, и мир стал одним огромным облаком.

В низком помещении маленькой мельницы, сложенной из больших камней, было спокойно, домовито. Непрестанный шум горного потока под полом мельницы был таким ровным, что скоро сделался привычным и перестал быть шумом. Кукурузное зерно незаметно и умело сыпалось в жёрнов, под жёрновом накапливалась мука, и на это вечное простое превращение можно было смотреть очень долго, отдыхая всем телом.

На полу в ряд стояли кожаные мешки и бурдюки с зерном; некоторые были плохо отделаны, внутри них осталась шкура, — зерно лежало в шерсти. В отверстии пола было видно, как нёсся

белый поток; за каменной стеной стояла водяная буря; свет «летучей мыши» падал на влажную пыль и делал её сказочной.

В углу мельницы, напротив грубого, обширного очага, стояла низкая постель, сложенная из камня и травы и накрытая буркой. На этой строгой постели двух стариков лежал, вытянувшись, Курбанов. Его лицо было спокойным и живым; большими тёплыми глазами он следил за старым крошечным мельником. Незаметный величественный старик складывал в очаг толстые поленья. Я прикрыл Курбанова своею буркой. Он сказал тихо:

— Спасибо, брат!

Голос его был счастливым. И слова — счастливыми, как детская песня.

В приоткрытую дверь видны были высокие лиловые цветы, такие крупные, что, казалось, они растут на пороге, и дальние на закате горы без вершин, наполовину орезанные облаком. В неясной тёплой мельнице был древний уют, деловитость вечного потока, неслышного зерна.

Толстые корни загорелись в очаге, старик подложил кизяку, кизячный дымок растянулся по мельнице; чувство родного места охватило меня; просторное, детское, благодарное чувство: благодарное просто, ни к кому в особенности; казалось, что оно было незаметно и навсегда потеряно, и тихо вернулось счастливое. Наверное, это родное чувство посетило и Курбанова, и голос его стал счастливым.

Я вспомнил сразу, без подробностей, все горы, города, долины и прошлые дни Закавказья: там было моё детство. Курбанов ласково прошептал:

— Вот мы и в кибитке!

Высокое пламя наполнило очаг и осветило в мельнице всё вновь: белый поток, небыстрый жёрнов, бурдюки и мохнатые чёрные стены. Курбанов успокоенно, задушевно сказал:

— Хороша кибитка у мельников! Как у нас в Копет-Даге. Немножко другая, правда, но это одно и то же!

Носатый весёлый Джамбот снял с деревянного гвоздя над белым потоком

жирную баранью ляжку и начал резать её на куски, лукаво и ласково поглядывая то на меня, то на Курбанова. Маленький старик вымыл в потоке чёрный казан, наполнил его водою и поставил в очаг.

Старики говорили между собою на языке, мне понятном: я знаю тюркские языки. Баранина варилась в казане, среди обширного сильного пламени, и мы отдыхали в полудремоте, у тёплого очага, растворяясь всем телом и мыслями, словно далеко от земли, в небе.

Два старых мельника не мешали нам отдыхать. Они понимали нас; незаметно и почтительно они следили за нами и тихо, размеренно беседовали о наших конях и ранах Курбанова, о чёрных самолётах и горных битвах, о пленном немце, о войне; обо всём понемножку.

— Такую войну и ты не выдумал бы, бесстыдный Джамбот! — спокойно сказал надменный Кичибатыр.

— Я был бесстыдным! — безразлично улыбаясь, ответил товарищу носатый Джамбот. — И ты был бесстыдным. Тебя на родине всегда называли обезьяной и бабником: ты — маймун и хатынчи! Крошка-богатырь! И болтлив, как деревенская речка! Что делать? Такова твоя бедная природа! Но всё это было. Несчастливого человека мы часто называли бесстыдным. Но взгляни на бесстыдника, которого даже я, Джамбот, не мог бы выдумать!

Джамбот указывал на «джуратки» немецкого офицера.

Мы заснули сразу после обильного ужина.

Старики остались на карауле.

Ночью я проснулся. В сакле было тихо, за саклей, среди тишины гор, начиналась гроза; она то останавливалась над саклей и долго и громко не уходила, то откатывалась вдаль, мягкая, живая. Курбанов тихо спал напротив очага и чуть стонал во сне.

Потом затих.

Джамбот лежал рядом с пленным немецким офицером, положив на него руку. Лицом к ним стоял на коленях на краю кошмы маленький властный

старик. Слабый свет «летучей мыши» падал на его голову и спину.

Дрова в очаге давно сгорели; последний свет догоравших углей ложился на бледное лицо Курбанова, как последняя полоса заката на усталую землю.

Старик стоял на коленях и пристально, не уставая, смотрел на ноги немецкого офицера в прекрасных горских «джурапках».

Потом я услышал долгое старческое бормотание.

Я подумал, что старик молится, и прислушался к его задумчивым словам. Старик молился.

Гроза приблизилась к сакле, ушла и остановилась в отдалении. Я лежал, не двигаясь. Я начинал понимать, что шептал старик.

Молитва старика.

«Великий бог, всю жизнь я хотел немного счастья! Я не хочу его теперь. Клянусь тобою, не надо мне его!

Когда я родился от двух бедняков, ты не дал мне таланта! Я вырос и молил тебя дать мне талант, отрадный для меня и для тех, кого любил я, голодный. Ты не дал мне его. Ты не дал мне и живой любви. Ты дал мне мёртвую любовь! Разве я не любил проворную и строгую Фатыму больше себя самого? И она не любила меня, как свою улыбку? И не был я ей улыбкой? Вспомни, как наши мечты всегда бродили рядом, как дружные жеребята! Вспомни, пожалуйста, и засмейся над этим, если можешь. Ты отобрал у меня Фатыму и не дал мне ничего взамен. Ничего, пока я не стал стариком и во мне не угасло то, что я хотел, а я хотел всем телом. Закрылись глаза моей любви: дышит ли? Нет, мертва! И не нужна она мне теперь, как пепел.

Я просил у тебя богатства и покоя, чтобы мне завидовали. Зависти хотел я от других, более меня удачливых и жирных. Не дал ты мне и этого. Я друзей хотел. У меня остался один глупый Джамбот. Мне некого любить. Я его люблю.

Детей я хотел. Ради них я взял бродячую милостивую женщину. Я не любил её, но был с ней ласков и прост. От моей негрубой ласки она стала чест-

ной и, радостная, родила мне двух сыновей. Ты помнишь их? Старший Мамет — сердечный, младший Али — одарённый и лукавый. Джигиты. Строители. Председатели, отмеченные правительством знаками уважения и почёта. Так говорю я! Кто я? Советский старик без богатства и зависти. Ты можешь мне поверить.

Ты взял моих сыновей. Они погибли на войне. Слава им, но не тебе! Зачем ты погубил их? Я спрашиваю тебя, великий! Старший — Мамет — своими руками задушил чёрный танк, младший — Али — застрелил с земли чёрный самолёт. Ты сделал так, что другой танк раздавил моего Мамета, другой самолёт разорвал моего Али. Ведь они не твои были! Мои они были.

Я не хочу теперь таланта от тебя, великий бог! Я не хочу теперь любви. Я не хочу богатства. И покоя не хочу! И разве я прошу у тебя сыновей? Нет. Не прошу ничего!

Одна у меня последняя просьба.

Вот просьба моей стыдливой старости: сделай бесстыдного пеплом! Покарай того, кто носит мои «джурапки». Покарай навсегда!

Разве ты не помнишь, что такие светлые «джурапки» с рисунком слезы ткала моя Фатыма? Так почему же они не на моих ногах, чтобы греть мои старые ноги?

И ты, и я, мы — старики. Мы с тобою знаем, как греет усталое сердце последняя память о самом лучшем в жизни и не бывшем никогда. Я спрашиваю тебя, сорок раз под ряд спрашиваю тебя, великий, почему девичьи ясные «джурапки» — не на моих усталых ногах?

Разве не моей страны эти «джурапки»? Ты знаешь: моей страны! На чьи же ноги надел ты их, великий?

Я ничего у тебя не прошу теперь. Ничего: сам ты видишь чёрные самолёты, чёрные танки и чёрного немца! Сделай его пеплом и развеи над светлыми горами! Сделай его чёрным прошлым и покрой его прах горькою травою. И голодные коровы пусть обходят эту траву!

Сделай его чёрною ночью: была про-

клятая ночь — и нет её, и не будет такой ночи никогда! Разве могут быть такие долгие ночи, до неба залитые горем и кровью?

Если слышишь, сделай так, великий бог долин, грозы и счастья!»

Старик настойчиво произнёс последние слова. Я стал засыпать и заснул так крепко, что конский шум у мельницы, на рассвете, показался мне концом молитвы. Кичибатыр приоткрыл дверь.

Невидимое солнце светило за вершинами чистых гор. В низкую дверь заглянула голова киргизского иноходца.

Мягкий от утренней сырости голос Торпышева весело спросил:

— Как ножка нашего лейтенанта?

Киргизский иноходец втянул широкими ноздрями домашний воздух мельницы и заржал.

— Ур, ур, ур! Бей, дави! — крикнул Курбанов, сел на постель и проснулся. Торпышев оттолкнул голову иноходца, вытянулся и сказал:

— Разрешите доложить, товарищ лейтенант, ваше поручение выполнил дословно! Командир полка приказал: вам, при помощи военного корреспондента, доставить себя в полк, захватив военнопленного, мне — отыскать проводника, спуститься к вчерашней долине, где бились танки, и узнать...

— Я—проводник!—сказал Джамбот, подтянул пояс и перешагнул порог мельницы. Кичибатыр ловко удержал его сзади.

— Ты—слабый старик! — сказал Кичибатыр своему другу. — Помнишь, как двадцать лет тому назад ты упал с Лошадиной Горы?

— «Гора с проточиной во лбу»! — удовлетворённо подсказал Джамбот. — Я долго летел с неё, это верно, но я упал не один, а вместе с большой сосной: я её подрубил, и она унесла меня с собою. Тогда я был молодым и немелым.

— Теперь ты старый и такой же немелый! — отеческим голосом сказал Кичибатыр. — Я буду проводником у славного воина!

— Нет, не будешь! — насмешливо сказал Джамбот. — Из этого благородного дела у тебя ничего путного не

выйдет! Мне — семьдесят семь лет. Тебе — сто два года, — я хорошо помню! Ты такой старый и маленький, что славный воин каждую минуту будет терять тебя из виду.

— Канайтесь! — сказал старикам Торпышев. — Мне — некогда, а спорить вы — ловкачи: видно, уже лет пятьдесят спорите друг с другом!

Джамбот быстро достал из глубокого кармана игральную косточку и показал её Кичибатыру.

— Моё — пустое! — взволнованно сказал Кичибатыр.

— Чтоб тебе пусто было! — сказал Джамбот, засмеялся, бросил кость и закричал: — Моё! Тебе в жизни всегда — пусто, Кичибатыр!

Через несколько минут Джамбот подъехал к мельнице верхом на низкорослом муле и смирным голосом сказал Торпышеву:

— Приказывай, куда вести!

— Джамбот! — ласково и просительно сказал Кичибатыр. — Привези ещё одного немца в «джурапках»! Если не привезёшь, не возвращайся на мельницу!

Последние слова Кичибатыр произнёс строго, с тихой угрозой.

— Посмотрим, отец! — неуверенно ответил ему Джамбот. — Кто знает завтрашний день?

Он поправился в старом облезлом седле и тронул мула к незаметной тропе, вниз, в ущелье.

Кичибатыр раздул в очаге огонь, поправил казан с остатками баранины, сказал, что скоро вернётся, и скрылся в светлой высокой траве.

Он вернулся не один.

Рядом с ним шла девушка; она была почти в два раза выше старика. За ними шли пожилые степенные горцы в широкополых войлочных белых шляпах и войлочных ногавках выше колен; они вели в поводу сильных, сытых мулов под вьючными паланами. За мулами шли две старые седые женщины в чёрных пластьях.

— Её имя — Оркуят! — сказал Кичибатыр лейтенанту и подвёл девушку к его постели. — Она — жена нашего учителя Ивана Матвеевича: он — рус-

ский джигит и давно на большой войне, целый год бьётся с чёрными немцами. Покажи молодой Оркуят свою раненую ногу; Оркуят многому научилась у русского учителя! Если она не поможет твоей боевой ноге, я позову старух: они знают в горах все травы, корни и камни! У нас — две таких проворных старухи. Они всё умеют делать, и ты не сердись на то, что они всегда спорят между собою: до войны они ссорились потому, что одна продала другой насмерть вшивого петуха, после войны они спорят из-за немцев. Одна умная старуха говорит, что немцы — самые злые и бесстыдные люди на земле, другая, тоже умная старуха, говорит, что немцы — не люди, а невиданные звери, полужмыи, полусвиньи и движутся по всей земле, как огромные громкие черепахи.

Оркуят, став на колени перед постелью лейтенанта, довольно ловко обратывала и перевязывала его ногу. Курбанов хмурил лоб, и ноздри его раздувались от боли. Я хотел сказать разговорчивому, как деревенская речка, Кичибатыру, чтобы он приумолк, но догадался, что старик бормочет не зря: он хочет, наверное, заговорить лейтенанта, отвлечь его болезненное внимание.

Пожилые колхозники устроили Курбанову конные носилки на мулах. Мы поели баранины и простились с ними и застенчивой, сдержанной, красивой Оркуят. Старухи проворно вбежали на каменный бугор и долго смотрели нам вслед, оживлённо споря.

Кичибатыр с важностью и очень осторожно вёл мулов. Я ехал за носилками лейтенанта и следил за пленным.

Утро над синими горами было чистое.

Мы спокойно миновали два сухих ущелья и спустились в третье, с высоким потоком. Кичибатыр остановил мулов перед водой, огладил их, пошептался с передним и стал, не торопясь, садиться на него верхом. Мне показалось, что и старик, и мулы боятся сильной воды. Я сказал Кичибатыру:

— Держись за мной, я поеду вперёд!

Пленный сидел верхом на англо-дончаке лейтенанта. Я вёл дончака в поводу. Переправа через глубокий поток и меня не радовала; он был широкий, — утренняя тень высокой сосны на прибрежной скале достигала лишь середины его. Вести через обширный поток пугливого англо-дончака в поводу было трудно. Немец сидел в седле, окаменев. Мулы были рослые, но ростом ниже наших коней; они привыкли к беспокойной горной воде, но конные носилки были для них непривычны. Поток катил по дну крупные камни; они могли сбить мулов с ног. Кичибатыр сидел на переднем муле, как игрушка.

Я взглянул на Курбанова.

— Раз надо, — значит, смелей! — сказал он.

Карабах ворвался в поток; англо-дончак сперва шёл с ним голова в голову, потом, споткнувшись, закинулся и чуть не вырвал мне левую руку. Я увидел на мгновение каменного немца и конные носилки над самой водой. Карабах внезапно погрузился подо мною и поплыл.

Рядом с ним, с безумными глазами, плыл дончак. Я соскользнул с седла в воду и схватился за конскую гриву. Дончак, в страстном отчаянии, повернулся и лёг на бок, хотя берег был близко. Пленный немец исчез в потоке.

Я больно стукнулся коленями об острый подводный камень, встал на ноги, упал, погрузившись в воду с головой, вынырнул и всем телом бросил себя вперёд, к берегу. Карабах бросился за мной.

Повода англо-дончака я не выпустил. Воды у берега мне было по пояс. Я подтянул к себе растерявшегося коня. Он испуганно стал на колени, потом весело вскочил, я оглянулся — и не увидел в потоке позади себя никого: ни лейтенанта, ни старика, ни мулов, ни пленного немца.

Перед моими глазами неслась высокая чистая вода, и мягко сталкивались на дне потока громадные камни.

Карабах и дончак стояли на каменном берегу, повернув головы к скале, на которой росла одинокая сосна.

Я взглянул в ту сторону — вниз, по течению потока, и побежал по мелкой прибрежной воде за скалу: мулы дружно тащили за собой из воды сломанные носилки; за них обеими руками держался лейтенант; лицо его было обращено в мою сторону, рот широко открыт: он кричал мне, но я ничего не слышал за шумом воды.

Лоб у лейтенанта был разбит, кровь обливала его кричащее лицо, вода смывала кровь, она сочилась со всего лба и стекала вновь на лицо.

Мулы вытянули Курбанова на мелкую воду. Я бросился к нему. Он крикнул мне в ярости:

— Немец, немец!

Немецкий офицер, чёрный от воды, быстро удалялся от берега, поднимаясь по соседней скале; она была похожа на лошадиную голову.

Немец скрылся за сосной, потом показался высоко и отчётливо под чистым небом на краю скалы. Я побежал к её подножью, поднялся на гладкую вершину, к старой сосне, изуродованной и опалённой ударом молнии, и на миг остановился.

Немец далеко бежал по самому краю ущелья, огибая его. Наперерез немцу, перепрыгивая через толстые корни, несся Кичибатыр; он летел над землёй незаметно, лишь стройно колыхалась его папаха.

Старик приблизился к отвесному краю ущелья, и немец заметил его. Я побежал ещё быстрее, из последних сил.

Немец обернулся на бегу, взглянул в пропасть и поднял ногу, чтобы ударить старика, но ударить не успел: старик подпрыгнул высоко, словно кошка, пролетел по воздуху, ударился о немецкого офицера и повис на его плечах. Немец покачнулся, вновь поднял ногу и провалился в ущелье, вместе со стариком.

За ними посыпались камешки, и чуть поднялась светлая пыль. Когда я побежал к этому месту, слабая пыль уже рассеялась.

Я долго стоял над краем ущелья и смотрел вниз. Был слышен отдалённый, глубокий шум стекающей россыпи камней — или мне так казалось — и я слышал только постоянный и далёкий гул потока.

Стена ущелья была отвесной, со дна его двумя скатами поднималась яркая скала, поросшая соснами; они были так далеко, что казались маленькими, ничтожными.

Я вернулся к лейтенанту. Он сидел на камне, дрожа от холода, мокрый, и окровавленными руками перевязывал свою голову. На его коленях лежал пистолет; недалеко, на низкой траве, среди камней, паслись спокойные мулы. Я помог Курбанову затянуть голову платком, подвёл к нему его дончака и поскакал на своём карабахе вниз по ущелью искать тело старика.

Я не нашёл его. Только там, где поток широко растёкся и занял почти всё ущелье, на узком берегу лежала большая нарядная папаха.

ЧАЙНАЯ РОЗА

Рассказ

БОРИС ЛАВРЕНЁВ

★

Жора Фемелиди был балаклавец. А балаклавцы — не простая порода. Нигде больше не найти такого бурного смещения кровей — готской, итальянской, татарской и греческой, как в балаклавах. Оттого и вырастают они кипучей старого вина, шумные любители солёной шутки, сердцееды, непокорные, как древняя генуэзская башня над их родным городом, которую не могли разрушить ни века, ни бешеные морские ветры.

Как всякий балаклавец, Жора был непомерно самолюбив и вспыльчив. Он напоминал то ехидное растение, которое лепится по прибрежным скалам и называется морским огурцом. Невзрачные плоды его, похожие на корнишоны, при легчайшем прикосновении к ним неосторожного прохожего с треском плюются мокрыми семенами, как разозлённый веблюд. Так же мгновенно и шумно вскипал Жора при малейшей обиде. А обидой ему казалось всё, что противоречило его желаниям и его представлению о собственной личности.

Был он долговяз, смугл, гибок и худ, а зрачки его влажных глаз сверкали, как отполированные шарики чистого антрацита, впаянные в голубоватый мрамор белков.

В роте он имел установленную репутацию крикуна, занозы и беспокойного человека. Поэтому, выбирая пятёрку бойцов для отправки в снайперскую команду батальона, лейтенант Седель-

ников внёс первой в список фамилию Фемелиди. С одной стороны, лейтенант этим избавлялся от неизбежного бурного разговора о незаслуженной обиде, с другой — тайно надеялся хоть на время отдохнуть от шумливого потомка Гомера.

Жора не разгадал хитрости лейтенанта. Он принял назначение, как почётное отличие, и весело сверкнул своими антрацитовыми шариками. Потом, не дожидаясь, пока соберётся остальная четвёрка, он подхватил вещевой мешок с парой трусиков, початым флаконом «Красной Москвы», бритвой и любимой мандолиной и отправился в район штаба батальона разыскивать инструктора команды снайперов, старшего сержанта Бондарчук. Но на пороге указанной ему землянки сидел краснофлотец, задумчиво штопая штаны второго срока. На вопрос Жоры он сообщил, что сержант в текущий момент находится у командира батальона и прибудет так через полчаса.

Солнце висело в зените. Порыжелый от зноя полдень горячей лавой растекался по каменистой почве. Дрожали струйки раскалённого воздуха. Как природный крымчак, Жора ненавидел жару и потащился в сторону, разыскивая какое-нибудь укрытие. Но трудно найти настоящую освежающую прохладу на голых севастопольских высотах, и пришлось ограничиться условным холодком под чахлыми кустами берёзы.

Чтобы скоротать ожидание, Жора

вытащил из мешка мандолину, разлѣгся поудобнее и, с ненавистью посмотрев на пылающую синюю высь, забренчал танго «Утомлённое солнце». Играл он, не смотря на зной, с упоением, не заметив даже, как резкая синяя тень легла на мандолину.

— Довольно неудобное место для концерта... А играете неплохо.

Голос был грудной, высокий, и Жора удивлённо вскинул голову. И заморгал так, словно взглянул на солнце и опалил глаза.

Он увидел худенькую девушку в армейской форме. Примятая пилотка боком сидела на её аккуратной небольшой голове. Пушистые волосы золотились на солнце. У девушки был маленький точёный носик, по-детски припухлые губы, а загорелое лицо точно освещалось изнутри тёплым светом глаз, синих, как вода в бухте.

Жора обомлел от неожиданности. Но замешательство было не в правилах коренного балаклавца. Вскочив на ноги, он неотразимо ухмыльнулся, щёлкнул каблукми и произнёс с преувеличенным восторгом:

— Калимера-калиспера! Волшебная игра природы! Видение, превышающее воображение. Какая яркая индивидуальность!

Угловатые бровки девушки дрогнули и сошлись к переносью. Смотря в глаза Жоре, она неожиданно резко спросила:

— Вы кто такой?

Это не понравилось Жоре. От своего безошибочного, не раз проверенного на женской психологии приёма, он ждал иной реакции — смущения, застенчивой или лукавой улыбки. И вдруг... Да с какой, собственно, стати эта пичуга так обращается с ним, закалённым фронтовиком? И кто она-то сама? Какая-нибудь сандружинница, в лучшем случае радистка или зенитчица. А фасонит, как командир. И Жора насмешливо процедил:

— Польщён вашим интересом до моей личности. Я граф Сан-Джорджио Дживовани ди Медуза Паламида, адмирал балаклавского порта.

— Я вас спрашиваю, кто вы такой? — ещё резче повторила девушка.

Жора весь напряжился злостью, как морской огурец, готовый плюнуть зрелой мякотью. Оскалив тридцать два ослепительных зуба и дерзко прищурился, он брякнул:

— Ну, вот что, милая барышня, — раз вам деликатный разговор непонятен, то и проваливайте мелким шариком... Тоже... чайная роза!

Он вложил в этот эпитет всё яростное презрение к нахальной девчонке, которое вскипело в его обидчивом сердце. Но девушка даже не изменилась в лице, словно жорина дерзость прошла мимо её слуха.

— Отлично! — сказала она совершенно спокойно. — Значит, вы адмирал балаклавского порта? Очень приятное знакомство. Ну, а я, к вашему сведению, старший сержант Бондарчук... Для первого шага делаю вам, товарищ краснофлотец, замечание за непристойное кривлянье и грубость. И, если не хотите заработать более крупное взыскание, извольте отвечать на вопрос.

Жёлтая раскалённая земля завертелась перед Жорой. Только теперь он рассмотрел защитные треугонички на таких же петлицах. Против собственного желания он автоматически выпрямился.

— Краснофлотец третьей роты Фемелиди... Прибыл в ваше распоряжение, товарищ старший сержант! — с трудом выдал он сразу пересохшим ртом.

Синие глаза обдали его нестерпимым блеском, и ему захотелось провалиться, когда он услышал презрительный голос:

— Очень ценное приобретение. Именно всю жизнь мечтала, чтобы мне прислали такое сокровище. Обратитесь к старшине Треногову, он укажет вам, где поместиться. И можете быть свободным до вызова.

И, повернув Жоре спину, старший сержант Бондарчук удалилась, легко ступая по камням. Подобрвав мандолину, Жора в смятении чувств разыскал Треногова. Кругленький широкоплечий живчик старшина после первых слов

всмотрелся в вытянутое лицо Жоры и участливо спросил:

— Ты что, браток, с лица потерянный, будто к тебе тёща напостоянно приехала с правом на жилплощадь?

Жора уныло махнул рукой и рассказал старшине о происшествии.

Старшина почесал веснушчатый нос.

— Здорово напоролся, — сказал он с мужским сочувствием. — Теперь держи уши на макухе. Она тебе приварит, эта чайная роза. Она насчёт дисциплины пристрастное понятие имеет. Зато стреляет — рассказать невозможно. Который нормальный снайпер, тот ганса просто в глаз бьет, а она в самый зрачок норовит. Сам увидишь.

Остаток дня Жора провёл скучно и тревожно. Будущее представлялось невесёлым. Ничего не может быть хуже порчи отношений с начальством с первого дня. Толку из жизни после этого не будет. И Жора честил себя отборными балаклавскими эпитетами, едкими, как стручковый перец.

— Камбала одноглазая, морской кот слепой! — ругался он втихую. — Знаков различия не мог сразу разобрать... Да кто ж его знал... Бондарчук!.. Бондарчук!.. Такая фамилия — не разбери, какого пола. И думать не мог... Эх, вяпался, Жорка, — держись!

Он заснул неуспокоенный. После пробудки его вызвали к старшему сержанту. Жора предстал перед начальством хмурый и поникший. Сержант Бондарчук критически осмотрела его с ног до головы.

— На вид, — сказала она, — хороший боец. А вчера тошно смотреть было. Как рыжий в цирке.

Жора осторожно молчал.

— С винтовкой обращаться умеете? — спросила Бондарчук.

Жора затрясся. Это было уже чересчур. Вчера он ответил бы на такой вопрос. Ой, как ответил бы. Но сейчас он только потемнел от ярости и буркнул:

— Второго года службы, товарищ старший сержант... Учили.

— Не знаю, — ответила Бондарчук, — многому придётся переучиться. Снайперское дело иногда не столько

стрельба, сколько умение ждать, когда можно будет выстрелить. А чтобы этого дожидаться, надо уметь видеть. На первый раз проверим вашу способность к наблюдению. Пойдёмте.

Жора покорно поплёлся за старшим сержантом. Несмотря на злость, которая бушевала в нём, он начал сознаваться самому себе, что сержант — командир хоть куда.

Они пробрались к замаскированной, перекрытой брёвнами снайперской ячейке на гребне холма. Внизу, белая от пыли, струилась, как речка, просёлочная дорога. Вдоль неё валялись поваленные телефонные столбы, опутанные кольцами порванной проволоки. По противоположному склону лепились заросли дикого сливняка. Бондарчук показала Жоре на эти заросли:

— Вот проберётесь туда, пока не увидите поворота дороги в долину. Заложете и будете наблюдать в течение двух часов. Человек появится, повозка, лошадь, блеснёт что-нибудь, дымок пойдёт — запоминайте место и засекайте направление по компасу. С компасом справляетесь? Хорошо... Всё ясно?

— Ясно, — хмуро сказал Жора.

— Огня не открывать, пока не начнут стрелять непосредственно по вас, то-есть, когда станет ясно, что вы обнаружены. Тогда можно отстреливаться. Но не нужно этого допускать. Снайпер должен уметь видеть и быть невидимкой. Трогайтесь! Я буду вас ждать здесь. И имейте в виду — там довольно опасно.

Жора вскинул голову, как конь, которого дёрнули за повод. Глаза его зажглись злыми кошачьими огнями. Что она, в самом деле, думает о нём, эта... чайная роза! И он огрызнулся:

— Не в таких переделках бывал, товарищ старший сержант. Воевать — не скумбрию на сковородке жарить.

Но Бондарчук не захотела понять дерзкого намёка на домашнее хозяйство.

— Ладно! Меньше слов — больше дела! Это ещё Суворов говорил. Выполняйте приказание.

Жора выбрался из гнезда и пополз к назначенному месту. Он достиг его

без всяких приключений, заметил под изогнутым стволом терна неглубокую ямку, забрался в неё и, обломав для очистки обзора несколько веточек, прикрыл ими себя. Потом стал приглядываться к местности. Под ним струилась та же дорога. На ней темнело несколько опалённых воронок. Очевидно, дорога попала под короткий, но сильный обстрел. Подальше над дорогой вздымалась отвесная бело-жёлтая, с подтёками от дождей скала из того мягкого камня, который пилили дровяными пилами для севастопольских построек. В ней чернели узкие дыры — это был северный край Инкерманского пещерного города. Напротив Жоры подымался такой же поросший диким сливняком склон, и по нему змеился, сбегая книзу, оросительный кювет. В долине голубели пятна садов, а ещё дальше встали зубчатые вершины. На них время от времени вспыхивали бледные молнии, сопровождаемые глухим громом. Оттуда была по городу немецкая артиллерия.

Жора проглядывал каждую складку, каждый уголок, напрягая глаза, стараясь не шевелиться, не поворачивать головы. Он успел уже заметить обозную повозку, которая пронеслась в долине, дымок не то костра, не то полевой кухни за забором разбитого хутора. Потом в одной из пещерных дыр мелькнула и скрылась смутная фигура, и Жора заметил эту дыру по нависшему над ней ржавому камню. Потом долгое время он не обнаруживал нигде признаков жизни и уже начал скучать, как вдруг из кювета напротив выскочила курчавая беленькая собачонка. Она присела на задние лапки и пискливо затыкала.

Жора всмотрелся и увидел на её шее голубую ленточку. Это удивило его. Видимо, собачка в военной тревоге отбилась от хозяев и блуждала голодная по зарослям. Жора пожалел её. И у него возникла мысль приманить её и отвести в батальон — всё-таки забава для ребят. Он тихонько засвистал. В сонном и знойном воздухе свист должен был быть слышен далеко, но собачка попрежнему подпрыгивала на месте и тявкала, не слыша призыва. Жора при-

поднялся на локтях и засвистал громче. В ту же секунду голова его словно раскололась от грохота. Оглушённый, он так быстро юркнул в свою ямку, что сильно ударился носом о камень. В глазах у него потемнело, и он не сразу понял, что это каска налезла ему на лицо. Он осторожно снял её и увидел на левой стороне козырька косую равную пробойну с острыми лепестками развороченной стали. Он мгновенно вспотел. Чуть правее, и пробойна была бы в его голове. Снова напялив каску, он попытался сдвинуться назад, и сейчас же пуля вскопала щебень у его плеча, подняв белёсое облачко пыли.

Но теперь Жора успел заметить всплеск выстрела на краю кювета, рядом с собачкой, которая больше не прыгала и не тявкала, а лежала на боку, деревянно вытянув лапки. Жора понял, что его поймали на приманку, как глупого бычка.

— Году, господа бога свиной огрызок, — прошептал он, белея от обиды и злости, — году!

Он медленно и тщательно прицелился в собачку. От удара пули она подпрыгнула, и из её пробитого тела клочьями полетела ватная начинка.

— Ага, выложил твоего кобелька, спортил гансу породу, — злорадно усмехнулся Жора.

Немец тоже озлился и не выдержал характера. Он расковырял землю у головы Жоры целой очередью. Но этим окончательно обнаружил себя. Жора увидел и чёрное дуло автомата, и серозелёное плечо, и склонённую к прикладу голову. Он послал пулю в эту голову. Дуло автомата дрогнуло и поникло.

— Маринованный баклажан по-советски кушал? — сказал Жора сквозь зубы и отёр потный лоб. На противоположном склоне белела разорванная собачка и чернело дуло смолкшего автомата. Жора не спускал с него глаз. Он не был бы балаклавцем, если бы не захотел захватить вражеское оружие. Кинув быстрый взгляд кругом и не видя никакой опасности, он выполз из ямки, попластунски загребая руками, но не продвинулся и на длину своего тела, как две пули настигли его с разных

сторон. Одна с шипением ушла в землю, как уползающая в нору змея, вторая ожгла левое плечо. Это заставило его стремглав ринуться в ямку. Сердце у него застучало, как мотор. Он понял, что попал в ловушку, что за ним охотятся. Число врагов было неизвестно. Может быть, целый взвод гансов палит на него буркалы.

Жора пощупал пробитое плечо. Оно горело, но он мог двигать рукой, хотя каждое движение отдавалось болью.

Он лежал неподвижно, тяжело дышал и думал. Конечно, теперь ему не выбраться из этой ямы. Но запросто его не возьмут. Он отдаст свою жизнь не иначе, как за хорошую цену. Так, чтобы о нём, Жоре Фемелиди, пели в Балаклаве гордую песню, как о тех черноусых предках, обвешанных ятаганями и пистолетами, засиженные мухами портреты которых висели в каждом балаклавском домике. Он закрыл глаза и вспомнил Балаклаву. И всё его тело запротестовало против смерти. Слишком мало ещё он прожил, слишком мало отведать раннего кисловатого молодого вина, слишком недолго любил огненно-оких балаклавских девушек. И в нём поднялась тяжёлая злоба на сержанта Бондарчук. Ведь она знала, посылая его сюда, что тут западня. Так, небось, не пошла вместе с ним, а погнала на смерть его одного. И ещё раскалила налёком на опасность. У, чёртова кукла! Сидит теперь спокойненько в гнезде, и мало ей заботы, что тут умирает краснофлотец Фемелиди, двадцати двух лет.

Он чуть приподнял голову, чтобы, по крайней мере, определить, где могут находиться враги, и это движение снова едва не стоило ему жизни. Пуля боком чиркнула по каске. Тогда, задрожав от бешенства и бессилия, он лёг ничком и вцепился зубами в сухую веточку, неистово разгрызая её. И в этот миг над самым его ухом оглушительно лопнул выстрел. Жора рванулся вбок, уверенный, что враг подкрался сзади. Но, повернув голову, ахнул. Из-под лохмотьев маскировочного плаща, утыканного листвой, на него в упор смотрели синие, как вода бухты, глаза.

— Живы? — спросил знакомый груд-

ной голос, вливаясь теплом в грудь Жоры. — Лежите тихо, не двигайтесь..
Одного уже сняла.

Жора притих. Он видел, как положенное на камень дуло винтовки сержанта медленно продвигалось влево и замерло. Жора пялил глаза по этому направлению, но не видел ничего, кроме густой листвы. Ударил выстрел, обдав его жаром, и из листвы, хватая пальцами ветки, тщетно стараясь удержаться, вывалился и распластался на откосе немец. Листва затряслась, и сквозь неё Жора увидел двоих, бегущих из своей засады. Третий выстрел срезал одного из них на бегу. Второй успел скрыться за непроницаемой сеткой стволов.

— Вот сволочь! — огорчённо сказала Бондарчук. — Уплёлся... перетянул с прицеливанием... Да вы что, ранены? — быстро спросила она, увидя землистое лицо Жоры и застывающую лепёшку крови на его плече.

— Чиркнуло, — небрежно проворчал Жора, обретая прежнюю лихость, — да свадьбы...

Ноющий визг не дал ему договорить. Рядом брякнулась и разорвалась тяжёлая мина. Чёрный дым призрачным монахом недвижно и плотно встал в воздухе и, мгновение спустя, сверху посыпались поднятые взрывом обломки деревьев и камня. И, вслед за взрывом, по сливняку, как вода из шланга, туго хлестнула пулемётная струя.

— Ого! Всерьёз обиделись... А ну, ходу! — крикнула сержант Бондарчук и, скорчась в три погибели, бросилась в чашу сливняка. Преодолевая боль от толчков в раненном плече, Жора мчался за ней. В непроходимой чаще они остановились, и Жора рискнул высказать своё мнение.

— Мы ж не той дорогой идём, товарищ старший сержант.

— Знаю, что не той. Той нельзя уже. Она вся простреливается. Пойдём обходом. Можете идти?

— Чтоб Жора Фемелиди не мог идти из-за кошачьей болячки? — сердито сказал Жора.

Они карабкались сквозь колючую чащу ещё минут, десять. Шипы терна

вырывали лоскутья их одежды, царапали и резали руки и лица. Заросли окончились над обрывом.

— Давайте вниз! — сказала Бондарчук и, спустив ноги за край обрыва, поехала спиной по почти отвесному скату. Жора свалился вслед за ней. Внизу они поднялись, оборванные, как бродяги, перебежали по дну балки и нырнули в пролом какого-то забора. За забором был фруктовый сад. Сонная золотая тишина окутывала его и показала Жоре неправдоподобной после пережитого. Сквозь ветви яблонь и груш белел покинутый домик, напоминая о былом мире и покое. Лениво жужжали пчёлы.

Пролезая сквозь живую изгородь из блестящего на солнце буксуса, Жора задел ногой за ветки и повалился вперёд, проламывая головой упругую стену зелени. Охнув от боли, он поднялся и увидел, что упал на штамбовый куст, росший за оградой. Он обломал его при падении, и на сломанном стебле перед его глазами медленно раскачивалась, горя на солнце, как волшебная чаша из прозрачного розовато-оранжевого фарфора, огромная чайная роза.

Он смотрел на неё, и его рука сама протянулась к ней и оторвала надломленный стебель.

— Ну, выбрались... Теперь в порядке, — сказала сержант Бондарчук, смотря не на Жору, а на свои кровотокащие руки, изодранные колючками

терна. Потом, вспомнив, она повернулась к Жоре.

— Вас перевязать надо... Что вы так на меня уставились? — спросила она с гримаской, увидя устремлённые на неё блестящие антрацитовые шарики.

Тогда Жора поступил так, как должен был поступить балаклавец. Весь в пыли, оборванный, окровавленный, он шагнул вперёд.

— Вот такая штука, — сказал он. — Вчера вышло недоразумение. Так давай, товарищ старший сержант, кончим это дело. Жора Фемелиди не такой человек. Жора всё понимает... Давай лапу на вечную морскую дружбу... чайная роза!

Сержант Бондарчук посмотрела на стоящего перед ней долгового парня со сверкающими преданностью глазами, и в синих глазах её молнией пробежал мягкий свет. Она усмехнулась и шлёпнула маленькой жаркой ладонью по протянутой ладони Жоры.

— Ну, давай, адмирал Медуза... Снайпер из тебя выйдет.

— Дай-ка я тебе эмблему приспособлю.

И Жора бережно всунул в кармашек гимнастёрки сержанта чайную розу. Выпрямляясь, он ощутил звон в голове и пошатнулся. Но рука сержанта Бондарчук не дала ему упасть. Он опёрся на неё, и так, рядом, плечо к плечу, спаянные лучшей из дружб, дружбой, рождённой в бою, они пошли к своим.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Е. ШЕВЕЛЁВА

★

СКАЛА

Обвита огнём и мглою,
Земля здесь стала с давних пор
Стальной, незыблемой скалою,
Тяжёлой цепью вечных гор.
До самой солнечной короны,
До самых призрачных небес
Вскипели каменные волны
Завесе туч наперерез.
Сверкают вздыбленные скалы
Холодной острой синевой —
Как будто гневные кинжалы
Над злобной вражьей головой.

И, словно поступь человека,
Здесь раздаётся вновь и вновь
Могучее родное эхо
Великих дел, великих слов.
Кто здесь высокий ветер слышал,
Кто от грозы не прятал глаз —
Тот крепче стал и ростом выше,
Тот стал похожим на Кавказ.
Здесь, возле звёзд — огни селений,
Не скрыть свободных гор во мглу,
И не поставить на колени
Стальную вечную скалу!

★

ЛЮБОВЬ

Для того, чтоб уйти от тебя
В хаос взрывов, в смятенье пальбы,
Где кипящие жерла трубят,
Где прожекторов пляшут столбы...
Чтобы, помня сквозь пламя и тьму,
Как ты любишь молчать, как смотреть,
Рваться в грохот зарниц самому,
Ощущать каждым мускулом смерть
И, быть может, остаться навек,
Где, рубеж защищая, залёг,

Где к бойцу, как живой человек,
Обгорелый приник стебелёк...
Для того, для того, для того,
Чтоб в горячке солдатской судьбы,
К пулемёту припав головой,
О тебе на минуту забыть,
Чтобы рваться навстречу свинцу,
В бой, где жерла орудий трубят, —
Надо было солдату-бойцу
Полюбить очень сильно тебя.

ТРИ РАССКАЗА

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

★

Я В И Ж У

Первый раз я увидел Туркина в бинокль из окопа.

Зигзаги проволочных заграждений, трёпанный кустарник, ямы, заполненные водой, восемьсот метров некрасивой земли отделяли наши траншеи от немецких. Эта земля была заряжена двумя минными полями. Каждая свободная пядь утыкана косыми кольями, пересечена струнами, и, как валы перекати-поле, лежали на ней ржавые пряди тончайшей проволоки, попасть в которую легко, а выпутаться очень трудно.

— Вы не очень-то высовывайтесь, — лейтенант Воронин пригнул мою голову. — Вы думаете, только у нас снайперы, у них тоже есть.

И, словно в подтверждение его слов, раздались два выстрела. Я присел. Воронин сказал:

— Это сейчас не по нас. Это по Туркину.

Я снова поднёс к глазам бинокль, но разглядеть Туркина на увитом железом пространстве не смог.

— Позвольте, — сказал Воронин, беря у меня бинокль. Потом, передавая мне его обратно, посоветовал: — Правее берёзы берите.

— Ничего нет.

— А кустик?

— Ну, кустик вижу.

— А это и есть Туркин. Сначала он в воронке лежал, потом дополз до впадины. Здесь у него ветки заготовлены, он их натёкал в петли маскхалата и сделался как куст. Сейчас он отдыхает. Отдохнёт, доберётся до кустар-

ника, сбросит ветки и по канаве — там высохшее русло ручья — заползёт в ровик. Сидеть ему там до темна. Раз немцы его приметили, долго не отпустят. Они его знают.

Наступили сумерки. Ноябрьский студёный ветер выдул из луж воду и оставил пластины чёрного льда, хрустевшего под ногами.

Потом мы с Ворониным сидели в ротном блиндаже, глубоком, чистом, с белой берёзовой мебелью и стенами, обитыми клеёнкой из немецких противопиритных пакетов. Горела крохотная автомобильная лампочка у потолка, а в печурке гудело пламя. Мы пили чай из горячих жестяных кружек.

— Знаете, — сказал мне Воронин, — вот вы не поверите, а я так здорово сейчас в свою жену влюблён, что просто сказать невозможно. — И словно смутившись от этого неожиданного заявления, Воронин стал старательно рыться в папке с боевыми донесениями, как будто ему там что-то понадобилось.

— Вы что, недавно видели её?

— Какой там! — Воронин сунул раздражённо папку под подушку и сердито сказал: — Вот у нас в газетах всё твердили, какие, мол, у нас замечательные люди в стране живут, а я только сейчас на войне понял, какие все они замечательные. И вообще я жил неправильно. Вот подождите, выгоним к чертовой матери немцев, я покажу, как надо жить. Чаю хотите?

Я подумал, что Воронин нарочно решил переменить тему разговора, но он,

наливая мне в кружку кипяток, продолжал говорить тем же отрывистым и взволнованным тоном:

— Мне сорок лет, а меня недавно вместе с этим Туркиным в партию принимали. Вот история!

— Разве Туркин плохой человек?

— А разве я говорю — плохой? Он сейчас самую тяжёлую боевую работу ведёт. Надо участок в шесть тысяч мин к зиме подготовить. Из каждой лунки мину извлечь, поставить на колышки, обновить и проверить взрыватели. И всё это под носом у немцев, а главное — ночью.

— А зачем он сегодня днём по полю ползал?

— Да ведь ночью место, где мины зарыты, разве найдёшь? Он днём вещи ставит, а ночью работает.

— Говорят, он первоклассный мастер?

— Ну уж, первоклассный. Выдающийся! Без миноискателя работает. У него в руках особенная какая-то осязательная сила. Прямо какие-то зрячие пальцы имеет. — И Воронин поднёс к глазам растопыренные свои пальцы, пытаясь объяснить это жестом. Но, видя, что жест не особенно помогает, горячо пояснил:

— Ведь он раньше на скрипке играл, когда слепым был.

— Что значит «слепым был»?

— Очень просто, с рождения. А потом ему операцию сделали.

— Почему же он раньше к врачам не обратился?

— Кто его знает, может не верил, не хотел зря мучиться, — и задумчиво трогая крышку на чайнике, Воронин тихо проговорил: — Смешной он человек. До сих пор удивляется, когда незнакомые предметы увидит. Он ведь, кроме госпиталя и войны, ничего не видел. Он прямо из госпиталя на фронт поехал. Здесь и видеть учился. Сначала в ополчении телефонистом работал, другое ему делать было трудно. Он ходить по-настоящему не умел, всё на что-нибудь натёкался.

— Как это страшно! Прозреть только для того, чтобы увидеть войну.

— Конечно, неприятно. Если бы по-раньше операцию сделал, ему интерес-

нее было бы. Но знаете, чего я вам скажу? Как он начнёт с нашими бойцами говорить, чудно как-то получается, словно сказку какую красивую рассказывает. А в сущности про обыкновенные вещи говорит: про курорты, например, а мы и на курорты ездили. У него как-будто и правда, и вместе с тем чорт знает как невероятно получается. Интересный человек, восторженный. Недавно с ним несчастье произошло: мина подорвалась, подорвалась от того, что по мине осколком стукнуло, когда Туркина немцы обстреливали. Ранило его, но не сильно. Только снова слепота напала. Он так и шёл с поля напрямик, ничего не видя. Голову поднял и шёл, а в него немцы стреляли. Что мы пережили — сказать невозможно. Прибежал я в санбат, взял его за руку, а рука дрожит. Я говорю: «Как же нам теперь быть, Яша?» — «Никак, — сказал он, — снова телефонистом буду». — А из-под повязки у него слёзы текут. Может, это политически и неправильно, но мы о его здоровье в каждом «боевом листке» писали. Но ничего, выздоровел он, опять прозрел. Только теперь очки велели носить. Но они ему не мешают.

Помолчав, Воронин сказал медленно:

— А жена у меня очень хорошая, такая хорошая... И вовсе не для меня.

На следующий день я шагал по лесу к узлу связи, чтобы передать очередную информацию в свою газету.

За ночь выпал снег. Снег лежал покровом необыкновенной белизны. Редкие снежинки продолжали падать с неслышным шорохом. В чистоте, в свежести рождались они.

На брёвнах, приготовленных для настала блиндажа, сидели бойцы и курили. Один боец в очках стоял со склонённой головой и, глядя на свою ва-режку, восторженно говорил:

— Смотрите, ребята, маленькая, а до чего здорово сделана. Такая звёздочка... Снежинка...

Голос этого человека, весь тон, каким он произносил слова, заставили меня остановиться. Повернувшись ко мне улыбающимся лицом, боец сбросил что-то невидимое с рукавицы и опустил руки по швам.

— Товарищ Туркин?

— Точно.

Я не знал, что сказать ему, и растерялся от волнения и нежности к этому человеку. И, не зная, что сказать, я сказал:

— Ну как, нравится наша зима?

— Очень красивая, — сказал Туркин. — Вот уже второй раз вижу и всё надивиться не могу.

— Обожди, Туркин, — сказал кто-то из бойцов, — мы ещё тебе такие штуки покажем, закачаешься. Ты, брат, ничего путного на нашей земле не видел.

А старшина Власенко, внушительно перебивая бойца, заявил:

— У нас Туркина на десять лет расписали. Его каждый погостить, похвастаться к себе зазвал, — и Власенко решительно объявил: — Но я его с собой заберу. После моих мест он ничего смотреть не захочет.

— А вы у нас в Сибири были?

— Я всё знаю, — сказал Власенко и, увидев, что бойцы смеются над ним, мягче добавил: — Я, конечно, тогда начальником над ним уже не буду. Пусть

сам, чего хочет, выбирает, — и обиженно замолчал.

А Туркин, улыбаясь, сказал:

— Самое хорошее я уже сегодня видел.

— Это чего ещё? — строго спросил Власенко.

— А вас, — живо сказал Туркин, — когда вы меня от немецких разведчиков отбивали. Как увидел вас с ручным пулемётом рядышком, сразу понял, что нет ничего лучшего на свете, да ещё во-время.

Все стали снова смеяться.

Я глядел на Туркина, на его живое лицо, на его глаза с ещё не смытой печалью. И мне тоже очень захотелось после войны позвать Туркина с собой и показать ему свою любимую, холодную и сильную реку, такую необыкновенную и самую красивую на свете. А какой город стоит на этой реке! Хотя, в сущности, городишка, в котором я родился, мелкий, и, конечно, не из мрамора там здания. Но я увидел свою родину сейчас такой ослепительной, такой красивой. Да разве в мраморе тут дело! Разве не человек наш украшает землю, наш сказочный, необыкновенный человек?

★

МЕРА ТВЁРДОСТИ

Ещё не смолкло тяжёлое дыхание удаляющегося боя. И красное солнце, окутанное облаками, медленно падало на запад. Ещё одиночные танки продолжали сползаться к пункту сбора.

Берёзовая роща, иссеченная осколками, стояла совсем прозрачная. Белые стволы деревьев резко выделялись в предвечерних фиолетовых сумерках.

В этой израненной роще собрались коммунисты десантной роты второго танкового батальона. Они обсуждали итоги боя. И когда закончилось обсуждение, секретарь партбюро Шатров сказал:

— Товарищи, тут поступило одно заявление. Необходимо его разобрать.

Это заявление было от бойца Гладышева. Он обвинял другого бойца, По-

хвиснева, в трусости. Сам Гладышев отсутствовал. Он находился в госпитале.

Когда Похвисневу предложили дать объяснение, он долго не мог начать говорить. Он выглядел больным, подавленный тяжестью обвинения и всем случившимся перед этим.

Прежде чем изложить суть дела, необходимо вас познакомить с Гладышевым и Похвисневым.

Оба они работали у ручного пулемёта. Гладышев — первым номером, Похвиснев — вторым. Пожилые, степенные, юни пользовались уважением у бойцов.

За время войны подразделение, в котором находились Гладышев и Похвиснев, потеряло одиннадцать человек. Шестеро из них продолжали существо-

вать в памяти бойцов. О них говорят до боя, после боя, на них ссылаются, когда нужно найти решение, а решать-то, кажется, ничего уже нельзя.

Имена остальных пятерых забыты. Они были тихими людьми и погибли, не вызвав ничего в сердце, кроме жалости.

Так уж водится на войне.

Одни, умирая, остаются жить в нас, другие уходят навсегда, бесследно. Эти обычно предпочитают смерть буйной драке до последнего вздоха. Ленивые души расстаются с телом легко, не то что яростные и непокорные.

Гладышев предпочитал всем видам оружия гранаты «Ф-1». Он доставал их где только можно и запасался впрок.

В жизни своей он переменял много профессий, объездил страну, участвуя на всех великих стройках, много повидал, вытерпел. Невзгоды фронтовой жизни переносил с лёгкостью бывалого человека.

Он умудрялся за ночь выстирать портянки и просушить на своём теле. Когда, казалось, на земле нет сухого места для ночлега, он находил его. Брился он одним и тем же лезвием безопасной бритвы, правя его о внутренние стенки гранёного стакана.

На привале вокруг его котелка всегда собирались бойцы. Гладышев умел говорить едко, насмешливо, умно.

— Народ неаккуратно с немцами драться хочет. Это мы аккуратно воюем. Я говорю командиру: разрешите на трофейном танке группку в их одежде по тылам соорудить? А он говорит: неудобно. А по-моему, неудобно, это когда немец по твоей земле живой ходит. А остальное всё удобно.

— А вы сколько, товарищ Гладышев, за войну человек убили?

— Человек? Нисколько, — сказал Гладышев.

— А как же в «боевом листке» написано...

— Так то же фрицы, — сказал Гладышев, щурясь, — разве ж они люди?

Похвиснев был из тех спокойных, рассудительных людей, которые могут мириться с любыми неудобствами, но

никогда не пожелают пойти на них, если не будут вынуждены к этому влиянием на них людей более жестокой, прямой и сильной воли.

И доброта его была такая же ленивая. Он предпочитал душевный покой жестокому упорству, направленному к одной цели.

В десантники Похвиснев пошёл потому, что пошёл Гладышев. Он привязался к Гладышеву и не хотел с ним расставаться.

Неутомимый и деятельный Гладышев сам не замечал, как в пылу своей неукротимой энергии он частенько делал то, что полагалось делать Похвисневу.

Гладышев был слишком нетерпелив. И когда он видел, как возится с топором или лопатой Похвиснев, он вырывал у него инструмент и заканчивал работу сам.

Сознательно или несознательно Похвиснев использовал яростный задор Гладышева, — трудно сказать. Только жили они оба дружно, и Гладышева вполне устраивало, что Похвиснев ему ни в чём не перечил.

Как-то отбирали добровольцев на одну опасную операцию. Похвиснева не оказалось в числе желающих. Гладышев ушёл с другим вторым номером. Потом Гладышев спросил Похвиснева, почему его не было с ним.

Похвиснев сказал:

— Я — человек семейный, зачем мне зря на рожон лезть.

Хотя Похвиснев ни разу не спрашивал Гладышева, есть ли у него семья, но по замашкам Гладышева он был твёрдо убеждён, что тот холост.

Гладышев сощурился и, глядя на Похвиснева с гадливым выражением на лице, какое у него обычно бывало, когда он, лёжа у своего пулемёта, целился, резко сказал:

— Если бы твоих ребят немцы зарезали, хорошо бы было?..

Впрочем, они быстро помирились. Гладышев не был злопамятным, а Похвиснев вообще не любил ссориться.

Теперь — о той операции, итоги которой обсуждали коммунисты десантного подразделения и события которой послужили поводом для заявления Гла-

дышева, обвинявшего своего друга в таком тяжёлом преступлении, как трусость.

В 6.30 танки с десантниками прямо с марша удачно миновали проходы, проделанные сапёрами в минных полях. Прорвав проволочные заграждения, они сокрушили передний край обороны огнём и ворвались в населённый пункт, где располагались вторые немецкие эшелоны.

Десантники, покинув танки в центре населённого пункта, вступили в бой с немецкой пехотой.

Гладышев, ещё сидя на танке, сорвал предохранительную чеку с гранаты «Ф-1». Спрыгнув на землю, он остановился, ища глазами, куда бы её метнуть.

Но тут из дверей каменного дома, по видимому бывшей нефтелавки, выскочил дюжий немецкий солдат. Увидев Гладышева, он кинулся на него.

Гладышев не мог выпустить из рук гранаты, потому что она тогда бы взорвалась. Бросить её в немца — тоже нельзя. Осколками поразило бы его самого. Подпустив немца, Гладышев кулаком, утяжелённым зажатой в нём гранатой, ударил его по голове. Немец упал.

От сильного удара Гладышев разбил себе пальцы. Боясь, как бы ослабевшие от боли пальцы не разжались сами собой, он быстро перехватил левой рукой гранату и метнул её внутрь каменного здания, когда взрыватель уже щёлкнул.

Всё это произошло так быстро, что Похвиснев, держа в обеих руках ящики с дисками, не успел даже выпустить их, чтобы притти на помощь.

Крикнув Похвисневу, Гладышев ворвался внутрь здания, держа новую гранату в левой руке. Но там уже всё было кончено.

Примостившись возле пробитого над самым полом квадратного отверстия в стене, — сюда, наверное, раньше вкатывали с улицы бочки с керосином, — Гладышев открыл огонь.

Похвиснев, сидя на корточках сбоку, подавал ему диски.

Немцы, пропустив наши танки, попытались встретить падающую за ними пехо-

ту огнём. Но десантники не давали немцам сосредоточиться в траншеях, пересекавших посёлок.

Тогда немцы стали стрелять из противотанковой пушки по зданиям, где закрепились наши автоматчики.

От прямых попаданий бронебойных снарядов обрушилась кровля нефтелавки. Огромная железная балка, поддерживающая свод, рухнула вниз вместе с обломками стропил.

Когда оглушённый Похвиснев открыл глаза и пыль рассеялась, он увидел, что железная балка придавила вытянутые ноги Гладышева. Кровь, пропитывая обломки извести, делала их красными, как куски мяса.

Похвиснев сначала подумал, что Гладышев убит.

Но почти в то же мгновение пыльный ствол пулемёта затрясся, и длинное трепетное пламя протяжной очереди забилось на конце ствола.

Похвиснев вскочил и попытался поднять балку. Но он не смог даже пошевелить её. Вид неестественно торчавшей из-под обломков голени Гладышева вызвал у него тошнотную тоску отчаяния.

И вдруг Гладышев, не поворачивая головы, сипло и повелительно произнёс: — Подавай!

Похвиснев бросился к коробке с дисками, но не мог открыть её, так у него тряслись пальцы.

— Подавай, — со стоном повторил Гладышев и выругался.

Этот подавленный стон словно образумил Похвиснева. Он вскочил, бросился к дверям и живо проговорил:

— Стёпа, друг, ты потерпи, я сейчас, — и выбежал на улицу.

— Подавай, сволочь! — хрипел Гладышев, силясь дотянуться до коробки с дисками.

Похвиснев бежал, не обращая внимания на визжащие вокруг него пули. Мина разорвалась у самых его ног. Осколки каким-то чудом перелетели через его голову. Он бежал без пилотки, с белым от известковой пыли лицом и слезящимися, невидящими глазами.

Сослепу он провалился в траншею и упал на немецкого пулемётчика. Борясь с

ним, он задушил его. Выбравшись, он продолжал бежать дальше.

Когда Похвиснев вернулся с бойцами в здание, где он оставил Гладышева, бойцы увидели Гладышева, лежавшего лицом на тёплых расстрелянных гильзах. Коробки с дисками ему удалось подтянуть к себе, набросив на них поясной ремень.

Заметив Похвиснева, Гладышев повернулся к нему почерневшим лицом и хотел плюнуть. Но снова в изнеможении упал.

Бойцы с трудом приподняли балку и освободили раздавленные ноги Гладышева.

Вот всё, как было.

Теперь на партийном собрании мы разбираем заявление Гладышева.

Лунный едкий свет проникает сквозь редкие белые стволы деревьев, как белое зарево осветительной ракеты.

А Похвиснев — вот он, стоит перед нами подавленный, и в глазах у него слёзы.

И мы знаем, что он вовсе уж не такой плохой человек.

Но такой ли он, как те наши шесть незримо присутствующих товарищей, с делами которых мы привыкли всегда сравнивать свои поступки?

Нет, он совсем не такой.

★

РАССКАЗ О ЛЮБИ

На войне сурово и трудно. Но живое и радостное чувство любви вечно живо. И когда люди отдают свою жизнь за высокое и чистое, хотелось бы, чтобы и любовь здесь у нас, на фронте, лишённая украшений мирной жизни, была такой же высокой и чистой.

Лёля, — так звали её все, — полная блондинка, с мягким и добрым лицом. Она смеялась, когда было смешно, сердилась и краснела, когда говорили скандальности, плакала втихомолку, когда у её раненого подымалась температура, и целовалась, прощаясь с выздоравливающими.

Ни один из раненых, — а раненые очень наблюдательны, — не мог бы сказать, что у Лёли с кем-нибудь из персонала госпиталя были близкие отношения.

И когда однажды Лёля сказала громко молодому врачу: «Слушайте, зачем вы мне дарите одеколон, ведь я же не бреюсь!», даже тяжело раненные усмехнулись, радуясь, что Лёля и этого молодого, здорового, красивого парня поставила на своё место.

Тут уж ничего не поделаешь. Когда много мужчин и есть одна женщина, мужчины начинают любить эту женщину, бескорыстно и чисто, пока она сама остаётся такой.

Лейтенанта Ваню Ломджария привезли ночью. До рассвета хирург вынимал из его обескровленного тела куски раздробленного металла. Через неделю операцию повторили и вынули ещё несколько осколков.

Ни до операции, ни во время её, ни после Ломджария не проронил ни слова, не выговорил ни слова.

«Или контуженный, или по-русски говорить не умеет», решила Лёля. И ухаживая со рвением за тяжело раненным, она беззастенчиво произносила ласковые, нежные слова, которые никогда бы не решилась сказать здоровому.

Ломджария лежал недвижимо, крепко стиснув синие губы, и только глаза его, большие, тёмные, горящие, говорили о тяжкой боли.

Но стоило Лёле погладить его худую руку, начать говорить нежные слова, все, какие она знала, как в глазах Ломджария пропадал жёлтый, дикий огонь боли и они озарялись другим, глубоким, влажным блеском.

Три недели пролежал Ломджария в госпитале, и Лёля привыкла разговаривать с молчаливым раненым доверчивым, ласковым шопотом, как ещё девочкой она разговаривала со своей куклой.

Когда врач объявил, что выздоровевший лейтенант Ломджария просит её с

ним проститься, Лёля спокойно вышла на улицу.

Конечно, она не сразу узнала в этом стройном военном своего раненого. Беспомощные, как дети, они сразу становились взрослыми, эти раненые, после того, как выздоравливали.

Лёля подошла к Ломджария и протянула ему руку. Он взял её руку в свою и, горячо и жадно сжимая, вдруг страстно проговорил:

— Лёля, я люблю вас.

Лёля растерялась, покраснела и глупо — так думала она потом, вспоминая своё смятение — спросила:

— Разве вы говорите по-русски?

— Лёля, — сказал нетерпеливо лейтенант, — я не могу больше задерживать машину. Вы слышите, я люблю вас.

— Ну что же, — сердито сказала Лёля, — я к вам тоже неплохо отношусь, но это никакого отношения не имеет к тому, о чём вы думаете.

Шофёр нетерпеливо нажимал сигнал. Ломджария оглянулся на машину и, потянув лёгкую руку к себе, сказал упрямо:

— Я люблю вас, слышите вы?

Резко повернувшись, он побежал к машине, а когда машина тронулась и он стал махать ей рукой, Лёля не ответила. Она была возмущена.

Лёля быстро забыла Ломджария, и попрежнему её доброе, мягкое лицо улыбалось всем раненым, и всем раненым нравилась эта простая, кроткая, такая заботливая девушка, и она любила их всех до тех пор, пока юни не выздоравливали.

Прошло три месяца. Лёля, принимая дежурство, обходила палаты. Вдруг она почувствовала, что кто-то смотрит на неё. И когда она обернулась, увидела на койке № 4 нового раненого с толстой забинтованной головой. И она сразу узнала эти тёмные, горящие глаза.

И опять Ломджария всё время молчал, и Лёля снова говорила шопотом те нежные, ласковые слова, какие, она знала, умалют боль, придают силу ослабевшим.

Ломджария, стиснув обескровленные губы, слушал эти слова, и по его лицу

нельзя было понять, слышит он их или нет.

И вдруг он неожиданно сказал:

— Лёля...

Лёля уронила термометр и покраснела, ожидая снова тех слов.

Но Ломджария сказал другое:

— Лёля, — сказал он, — мне стыдно, что я сказал вам тогда. Но имя ваше я всегда буду хранить в своём сердце.

А Лёля, раздраженная тем, что так глупо разбила термометр, и сердясь на своё волнение, ответила:

— Это пожалуйста, сколько угодно.

Ломджария откинулся на подушку и ничего не ответил.

Несколько дней Лёля старалась не задерживаться у койки Ломджария и обращалась с ним вежливо и сдержанно.

Но потом как-то, поправляя у него на голове повязку, она сказала со странной нежностью:

— Вот видите, сколько мне забот с вами. Воюете, видно, неосторожно?

Лейтенант холодно спросил её:

— Вам хотелось бы, чтоб я дрался лениво, как корова?

— Нет, — сказала Лёля задумчиво, невольно положив свою руку на руку Ломджария, — деритесь, пожалуйста, так, как вы дрались до сих пор, но может быть, хоть чуточку осторожней, — и юмутилась.

А Ломджария, гневно блестя глазами, сказал:

— Ну, как драться, вы меня не учите. Я сам знаю, как мне надо драться.

Вскоре лейтенант выздоровел. Он вежливо простился с Лёлей и не сказал ей ни одного из тех волнующих и страстных слов, которые он произносил тогда, и Лёля вернулась в палату растерянная и огорчённая.

Вечером у Лёли были заплаканные глаза.

И раненые, — ведь раненые очень наблюдательны, — поняли, что Лёля любит лейтенанта Ломджария, и не так, как она любит их, а иначе. И все они сочувствовали Лёле и радовались, что на свете существует такая большая, чистая любовь, о которой нельзя разговаривать.

УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ О НЕМЦАХ

П. БАЖОВ

★

ИВАНКО КРЫЛАТКО

Про наших златоустовских славна сплётка пущена, будто они мастерству у немцев учились. Привезли, дескать, в завод сколько-то немцев. От них здешние заводские и переняли, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолоту наводить. И в книжках будто бы так записано.

Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку то ловить, что наши старики сказывают. Вот тогда и поймёшь, как дело было, — кто у кого учился.

То правда, что наш завод под немецким правленьем бывал. Года два ли, три вовсе за немцем-хозяином числился. И потом, как в казну обратно отошёл, немцы долго тут толкошились. Не дом, не два, а полных две улицы их набилось. Так и звались: Большая Немецкая — это которая меж горой Бутыловкой да Богданкой, — и Малая Немецкая. Церковь у немцев своя была, школа тоже, и даже судились немцы своим судом.

Только и то надо сказать, что и других жителей в заводе довольно было. Демидовкой не зря один конец назывался. Там демидовские мастера жили, а они, известно, булат с давних годов варить умели.

Про башкир тоже забывать не след. Эти и вовсе задолго до наших в здешних местах поселились.

Народ, конечно, не богатый, а конь

да булат у них такие получались, что век не забудешь. Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор долго тебе снится.

Вот и выходит — нашим и без заводного немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не без смекалки были, к чужому своё добывали. По старым поделкам это въявь видно. Кто и мало в деле понимает, и тот по этим поделкам разберёт, походит ли барин на беркута, — немецкая, то-есть, работа на здешнюю.

Мне вот дедушко покойный про один случай сказывал. При крепостном ещё положении было. Годов, поди, за сто. Немца в ту пору жировало на наших хлебах довольно, и в начальстве всё немцы ходили. Только уж пошёл разговор, — зря, дескать, такую ораву кормим, ничему немцы наших научить не могут, потому сами мало дело понимают. Может, и до высокого начальства такой разговор дошёл. Немцы и забеспокоились. Привезли из своей земли какого-то Вурму ли Мумру. Этот, дескать, покажет, как булат варить. Только ничего у этого Мумры не вышло. Денег проварил уйму, а булату и плитки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только вскорости опять слушок по заводу пустили, — едет из немецкой земли самолучший мастер. Рисовку да позолоту покажет, про

какие тут и слыхом не слышали. Заводские, после Мумры-то, к этой немецкой хвастне безо внимания. Меж собой одно судят:

— Язык без костей. Мели, что хочешь, коли воля дана.

Только, верно, приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, позубоскальничали маленько:

— Штоф не чекушка. Вдвоём усидишь, и то песни запоёшь. Выйдет, значит, дело у этого Штофа.

Шутка шуткой, а на деле оказалось — понимающий мужик. Глаз хоть навывкате, а верный, руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не поглянулось: шибко здыморыльничал и на всё здешнее фуйкал. Что ему ни покажут из заводской работы, у него одно слово: фуй да фуй. Ело за это и прозвали Фуйко.

Работал этот Фуйко по украшению жалованного оружия. Как один, у него золотые кони на саблях выходили, и позолота, без пятна. Ровно лежит, крепко. И рисовка чистая. Всё честь-честью выведено. Копытца стаканчиками, ушки пенёчками, чёлку видно, глазок-точечка на месте поставлена, а в гриве да хвосте хоть сильшкки считай. Стоит золотой конёк, а над ним золотая коронка. Тоже тонко вырисована. Все жички, цепочки разобрать можно. Одно не поймёшь — к чему она тут над коньком пристроилась.

Отделает Фуйко саблю и похваляется:

— Это есть немецкий работа!

Начальство ему поддувает:

— О, та. Такой тонкий работа руски понимайт не может.

Нашим мастерам, понятно, это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу подставить, чтобы не хуже сделал. Говорят начальству:

— Так и так, надо к Штофу на выучку из здешних кого определить. Положение также есть.

А начальство руками машет, своё твердит:

— Это есть очень тонкий работа. Руски понимайт не может.

Наши мастера на своём стоят, а сами думают, кого поставить. Всех хороших рисовщиков и позолотчиков, конечно, наперечёт знали, да ведь не всякой подходит. Иной уж в годах. Такого в подручные нельзя, коли он сам давно мастер. Надо кого помоложе, чтоб вроде ученика пришёлся.

Тут в цех и пришёл дедушко Бушуев. Он раньше по украшению же работал, да с немцами разаркался и своё дело завёл. Поставил, как у нас ведётся, в избе чугунную боковушку кусинской работы и стал по заказу металл в синь да в серебро разделявать. Ну, и от позолоты не отказывался.

И был у этого дедушки Бушуева подходящий паренёк, не то племянник, не то внучёнок — Иванко, той же фамилии Бушуев. Смышлёный по рисовке. Давно его в завод сманивали, да дедушка не отпускал.

— Не допущу, — кричит, — чтоб Иванко с немцами яхшался. Руку испортят и глаз замутят.

Поглядел дедушко Бушуев на фуйкину саблю, аж крякнул и похвалил:

— Чистая работа!

Потом, мало погода, похвастался:

— А всё-таки у моего Ванятки рука смелее и глаз веселее.

Мастера за эти слова и схватились:

— Отпусти к нам на завод. Может, он всамделе немца обыграет.

Ну, старик ни в какую.

Все знали, — старик неподатливый, самостоятельного характеру. Правду сказать, вовсе поперёшный. А всё-таки думка об Иванке запала в головы. Как дедушко ушёл, мастера и переговариваются меж собой:

— Верно, попытать бы!

Другие опять отговаривают:

— Впусте время терять. Парень из рук дедушки не вышел, а того ни крестом, ни пестом с дороги не своротишь.

Кто опять придумывает:

— Может, хитрость какую в этом деле подвести?

А то им не в догадку, что старик из цеха сумный пошёл.

Ну, как — русский человек! Разве ему охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало!

Всё-таки два дня крепился. Молчал. Потом, ровно его прорвало, заорал:

— Иванко, айда на завод!

Парень удивился:

— Зачем?

— А затем, — кричит, — что надобно этого немецкого Фуйку обставить. Да так обогнать, чтоб и спору не было.

Ванюшка, конечно, про этого вновь приезжего слышал. И то знал, что дедушко недавно в цех ходил. Только Иванко об этом помалкивал, а старик расходился:

— Коли, — говорит, — немца работой обгонишь, женись на Оксютке. Не препятствую!

У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался.

— Не могу допустить к себе в домжку босоту, бесприданницу!

Иванку лестно показалось, что дедушко по-другому заговорил, — живо побежал на завод. Поговорил с мастерами, — так и так, дедушко согласен, а я и подавно. Сам желание имею с немцем в рисовке потягаться. Ну, мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтоб по положению к Фуйке русского ученика поставить, — Иванка, значит. А он парень не вовсе рослый. Лёгкой статьи. В жениховской поре, а парнишком глядит. Как весенняя байга у башкир бывает, так на трёхлетках его пускали. И коней он знал до косточки.

Немецкое начальство сперва поартачилося, потом глядит, — парнишко замухрышистый, согласилось: ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванко и попал к немцу в подручные. Присмотрелся к работе, а про себя думает — хорошо у немца кони выходят, только живым не пахнут. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так думает, а из себя дурака строит, дивится, как у немца ловко каждая чёрточка приходится. Немец, знай, брюхо поглаживает да приговаривает:

— О! Это есть немецкий работа!

Прошло так сколько-то времени. Фуйко и говорит по начальству:

— Пора этому мальшику проба ста-

вить, — а сам подмигивает, — вот-то смеху-то будет!

Начальство сразу согласилось. Дал Иванку пробу, как полагалось. Выдали булатную саблю, назначили срок и велели рисовать коня и корону, где и как сумеет.

Ну, Иванко и принялся за работу. Дело ему, по-настоящему сказать, знакомое. Одно беспокоит — надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил, — буду рисовать коня на полном бегу. Только как тогда с коронкой? Думал-думал и давай рисовать пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней коронку вырисовал. Тоже все жички-веточки разберёшь, и маленько эта коронка назад напрочапилась, как башкир на лошади, когда во весь мах гонит.

Поглядел Иванко, чует, — ловко рисовка к волновому булату пришлась. Живыми коньки вышли, и коронка делу не мешает, — будто несут её кони.

Подумал-подумал Иванко и вспомнил, как накануне вечером Оксютка шептала: — Ты уж постарайся, Ваня! Крылышки, что ли, приладь коньку, чтоб он лучше фуйкиного вышел.

Вспомнил это Иванко и говорит:

— Э, была — не была! Может, так лучше!

Взял да и приделал тем конькам крылышки, и видит — точно, ещё лучше к булатному узору рисовка легла. Эту рисовку закрепил и по дедушкиному секрету вызолотил.

К сроку изготовил. Отполировал старательно, все чашинки загладил, глядеть любо. Объявил, — сдаю пробу. Ну, люди сходиться стали.

Первым дедушко Бушуев пришлёпал. Долго на саблю глядел. Рубал ею и показавки, и по-башкирски. На крепость тоже пробовал, а больше того на коньков золотых любовался. До слезы смотрел. Потом и говорит:

— Спасибо, Иванушко, утешил старика!.. Полагался на тебя, а такой выдумки не чаял. В чиковку к узору твоя рисовка пришлась. И то хорошо, что от ефесу ближе к рубальному месту коньков передвинул.

Наши мастера тоже хвалят. А немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли.

— Какой глупость! Кто видел коня с крыльбом? Пошему корона сбок лежал? Это есть поношений на коронованный особ!

Прямо сказать, затакали парня, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушко Бушуев разгорячился.

— Псы вы, — кричит, — безмысленные! Взять вот эту саблю да порубать вам осиковы башки. Что вы в таком деле понимаете?

Старика, конечно, связи же вытолкали, чтоб всамделе немцы до худого не довели. А немецкое начальство Ванятку прогнало. Визжит вдогонку:

— Такой глупый мальшишка завод не пускайт! Штраф платиль будет! Штраф!

Иванко от этого визгу приуныл, да дедушко подбодрил:

— Не тужи, Иванко! Без немцев жили и дальше проживём. И штраф им выбросим. Пускай подавятся! Женись на своей Оксютке. Сказал — не препятствую, и не препятствую!

Иванко повеселел маленько да и обмолвился:

— Это она надоумила крыльшки-то конькам приделать.

Дедушка удивился:

— Неуж такая смыслёная девка?

Потом помолчал малость да и закричал на всю улицу:

— Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал. А насчёт крылатых коньков не беспокойся. Не всё немцы верховать у нас будут. Найдутся люди с понятием. Найдутся! Ещё, гляди, напраду тебе дадут. Помяни мое слово.

Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло.

Вскорости после иванковой свадьбы к нам в завод царский поезд приехал. Тройках, поди, на двадцати. С этим же поездом один казацкий генерал служился. Ещё из кутузовских. Немало он супостата покрошил, и немецкие, сказывают, города брал.

Этот генерал ехал в Сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд

его нагнал. Ну, человек заслуженный. Царь и взял его для почёту в свою свиту. Только глядит, — у старика заслугто на груди небогато. У ближних царских холуёв, которые платок поднимают да кресло подставляют, куда больше. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованной саблей.

На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшенный цех. Царь и говорит генералу:

— Жалую тебя саблей с золотым украшением. Выбери самолучшую.

Немцы, понятно, спозаранку всю фуйкину работу на самых видных местах разложили. А один здешний мастер возьми и подсунь в то число иванковых коньков. Генерал, как углядел эту саблю, сразу её ухватил. Долго на коньков любовался, заточку осмотрел, полировку, все винтики опробывал и говорит:

— Много я на своём веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полётом. Крылатый человек. Хочу его поглядеть.

Ну, немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришёл тот, а генерал его благодарит. Выгреб сколько было денег в кармане и говорит:

— Извини, друг, больше не осталось: поиздержался в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за твоё мастерство. В самую точку попал. Твоя рисовка к добромому казацкому удару ведёт.

Тут генерал так саблей жикнул, что царской свите холодно стало, а немцев пот прошиб.

Не знаю, правда ли, нет, будто немец при страхе первым делом кругом сыреет. Потому — ежедень пивом наливается. Наши старики так и сказывали, а им случалось, конечно, по зауголкам немца бывать.

С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу Крылатком звать.

Через год ли, больше за его саблю награду выслали, только немецкое начальство, понятно, ту награду зажило. А Фуйко после того случая в свою сторону уехал. Он, видишь, не в пример прочим всё-таки мастерство имел. Ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили.

Иван Бушуев в завод воротился, когда немецких приставников да нахлебников начисто повымели, а одни настоящие мастера остались. Ну, это не долго тянулось, потому — у немецкого начальства при царе рука была и своей хитрости не занимать. Вот хоть алмазную спичку хватить. Сколько они тут подвожу делали да исхитрялись! Только про это другой раз скажу!

Оксюткой дедушко Бушуев крепко доволен был. Всем соседям нахвалявал:

— Отменная бабочка издалась. Как пара коньков, с Иваном веселенько в житье бегут. Ребят растут хорошо. В одном оплошка. Не может мне Оксютка такого правнучка принести, чтоб сразу крылышки знатко было. Ну, может, принесёт ещё, либо у этих ребятшек крылышки отрастут? Как думаете — отрастут?

— На мой глаз, крылатковы ребята без крыльев не должны быть. Верно?

★

ВЕСЕЛУХИН ЛОЖОК

У нас за прудом одна логотинка с давних годов на-славу. Весёлое такое местичко. Ложок ширококонький. Весной тут маленько мокреть держится, зато трава кудреватее растёт и цветков большая сила. Кругом, понятно, лес всякой породы. Поглядеть любо.

И приставать с пруда к той логотинке сподручно: берет не крутой и не пологий, а в самый, сказать, раз — будто нарочком улажено, а дно — песок с рябчиком. Вовсе крепкое дно, а ногу не колет. Одним словом, всё, как придумано. Можно сказать, само это место к себе тянет: вот де хорошо тут, на бережке посидеть, трубочку-другую выкурить, костерок запалить да на свой завод сдала поглядеть, — не лучше ли житишко наше покажется?

К этому ложочку здешний народ спокон век приучен. Ещё при Мосоловых мода завелась.

Они — эти братья Мосоловы, при конх наш завод строением зачинался, из плотницкого званья вышли. По нынешнему сказать, вроде подрядчиков, видно, были да сильно разбогатели и давай свой завод ставить. На большую, значит, воду выплыли. От богатства отяжелели, понятно. По стропилам с ватерпасом да отвесом все три брата ходить забыли. В одно слово твердят:

— Что-то ноне у меня голову обносить стало. Годы, видно, не те подошли.

Про то, небось, не поминали, что каждый брюхо нарастил — еле в двери протолкнуться. Ну, всё-таки Мосоловы

до полной барской статьи не дошли, попросту жили и от народу шибко не отворачивались. Летом, под большой праздник, а то и просто под воскресный день нет-нет и объявят по народу:

— Эй, кому досуг да охота, приезжай утре на ложок, за прудом: попить, погулять, себя потешить! За полный хозяйский счёт!

И верно, сказывают, в угощенье не скалдырничали. Вина, пирогов и другой всякой закуски без прижиму ставили. Пей, ешь, сколь нутро вытерпеть может.

Известно, подрядчиья повадка: год на работе мотают, день вином угощают да словами улецают:

— Уж мы вам, всё едино, как отцы детям, ничего не жалеем. Вы обратно для нас постарайтесь!

А чего постарайтесь, коли и так все кишки вымотаны!

От этих мосоловских гулянок привычка к весёлому ложку и зародилась.

Хозяйское угощенье, понятно, не в частом быванье, а за свои, за родные хоть каждый летний праздник ездят. Запрету нет. Народ, значит, и приучился к этому. Как время посвободнее, глядишь, — чуть не все заводские лодчёлки и батишки* к весёлому ложку правятся. С винишком, понятно, с пивом. Ну, и закусить чем тоже прихватывали. Кто, как говорится, баранью лытку, кто — пирог с молитвой, а то и лужовку побольше

* Бат, батшко — долблёная лодка; обычно управляется одним веслом.

да погорчее. Одним словом, всяк по своей силе-возможности.

Ну, выпьют, зашумят. По-хорошему, конечно: песни поют, пляшут, игры разные затеют. Одно слово, весело людям. Случалось, понятно, и разаркаются на артели. Не без этого. Иной раз и драку разведут, да такую, что охти мне. На другой день всякому стыдно, а себя завинить всё-таки охотников нет. Вот и придумали отговорку:

— Место там такое. Шибко драчливое.

К этому живо добавили:

— Веселуха там, сказывают, живёт. Это она всё и подспраивает. Сперва людей весельем поманит, а потом лбами столкнёт.

Нашлись и такие, кто эту самую Веселуху своими глазами видел, по стакану из её рук принимал и сразу после того в драку кидался. Известно, ежели человек выпивши, ему всякое показаться может. И столь, знаешь, явственно, что заневолю поверишь, как он сказывать станет:

— Стоим это мы с Матвейчем на бережку, у большой-то сосны. Разговариваем, как обыкновенно, про разное житейское. И видим — идёт не то девка, не то молодуха. Сарафан на ней перетёстрый, цветошатый. На голове платочек, тоже с узорными разводами. Из себя приглядная, глаза весёлые, а зубы да губы будто на заказ сработаны. Одним словом, приметная. Мимо такая пройдёт — на годы, небось, её запомнишь. В одной руке у этой бабочки стакан транёного хрустала, в другой — рифчатая бутылка зелёного стекла — цельный штоф. Ну, вот... Подходит эта молодуха к нам, наливает полнэхонек стакан, подаёт Матвейчу и говорит:

— Тряхни-ко, дедушко, для веселья!

У Матвейча, конечно, нет той привычки, чтоб от вина отказываться. Принял стакан, поглядел к свету, полюбился, как вино в хрустале-то играет, и плеснул себе на каменку. Трякнул, конечно, да и говорит:

— Видать, от желанья поднесла. Легонько прокатилось, душу обогрело.

А бабёнка, знай, посмеивается. Наливает опять стакан и подаёт мне.

— Не отстанешь, поди, от старика-то?

— Зачем, говорю, оставить? Довольно смешной это разговор. Таких-то, как Матвейч, на одну руку по три штуки — и то уберу.

Матвейч, понятно, в обиде на это. Свои слова бормочет: — Стар, да петух, а и молод, да протух. Ну, и другое, что в покор молодым говорится.

— Сопли, дескать, подтягивать не навькли, а тоже с нами, стариками, ровняться придумали.

Слово за слово — разодрались ведь мы. Да ещё как разодрались! В долги уж на мировую полштофа роспили и всё дивовались — как это промеж нас такая оплошка случилась, и куда та бабёнка сгнула, коя нам по стакану наливала.

Только и другое говорили.

В нашем заводе, видишь, рисовщики по делу требуются. Иной с малых лет с карандашом. Ну, и расцветка тоже для тех, кои ножи в синь разделявают, дорогого стоит. Так вот эти рисовщики про Веселуху не то говорили, а тоже будто въявь её видели.

— Лежит, дескать, парень на травке, в небо глядит, а сам думает — вот бы эту красоту в узор перевести. Вдруг ему кто-то и говорит:

— А вот это подойдёт!

Оглянулся парень, а у него в головах, на пенёчке Веселуха сидит и подаёт ему какой-то листок. Поглядел парень, а на этом листочке точь-в-точь тот самый узор и расцветка показаны, о каких он думал. Вот с той поры и повелось, как новый хороший узор появится, так Веселуху и помянут:

— Это, беспреренно, она показала. Без её рук не обошлось. Самому бы ни в жизнь такое не придумать!

Да вот ещё какая заметка была. Самые что на есть заводские питухи дивовались:

— Ровно мы с кумом оба на вино крепкие. Это хоть кого спроси. А тут конфуз вышел: охмелели, как несмыслёныши какие, еле домой доползли.

Вспомнить стыд. И ведь выпили самую малость. Отчего бы такое? Не иначе Веселуха над нами подшутила. Вишь, лукавка! Кому вон хоть по стаканчику из своих рук подносит, а нас и без этого пьяными сделала.

На деле, может, оно и проще было. После заводской-то пыли-копоти да кислых паров разморило их на травке под солнышком, а вину на Веселуху сваливают.

Заводские девчѣнки да бабѣнки тоже по-разному Веселуху понимали. Кто слѣзы лил да причитал:

— Обманула меня Веселуха! Обманула! На всю жизнь загубила.

Кто опять же хвалился:

— Хоть не сладко живу, да муж по мыслям. Доброго мне парня тогда Веселуха подвела. С таким и в бедном житье не скучно.

Так вот смешница в народе и пошла. Кто ругает Веселуху: она людей пьянит да мутит, кто хвалит: самую высокую красоту показывает. А про то, есть ли она на самом деле, — и разговору нет. Всяк про неё размазывает, будто сам её видел. Такая и сякая, молодая да веселая. И про то помянуть не забудут, что больно цветисто ходит. А девчѣнки да и бабѣнки, кои помоложе, сами норовят попестрее снарядиться, коли за пруд собираются. И место это так и прозвали — Веселухин ложок.

Ну, который крепко на то место осердится, тот ругался, конечно:

— Веселухино болото! Чтоб ему провалиться!

От Мосоловых наш завод Лугинину перешѣл. Этот, сказывают, вовсе барского покрою был. Веселухин ложок ему приглянулся. Сразу стал там какое-то своё заведение строить да незадачливо вышло. Раз построил — сгорело, другой раз строянку развѣл — опять сгорело. Третий раз самую надёжную свою стражу к строянке приставил, а до дела не довели. Построить-то, точно, построили, да только как последний гвоздь забили, ночью всё и сгорело, и барские верные псы изжарились. Какая в том причина, настояще сказать не умею, а только на Веселуху показывали. Да то ещё старики говорили: Лугинин этот был какой-

то особой барской веры и от народу скрытничал. Ну, а барская вера, — это сдвна примечено, — завсегда девчѣнкам да молодухам, которые попригожее, горе-горькое. Веселухе будто это и не полюбилось, она и не допустила, чтоб новый барин в её ложке пакость разводил.

Потом, как завод за казну перешѣл да придумала чья-то дурова голова немцев к нам понавестить, опять с Веселухиним ложком поворот вышел.

Понаехали, значит, немцы. Зовутся мастера, а по делу одно мастерство видно — брюхо набивать да пивом наливать. Живо раздобрили на казѣнных харчах, от безделья да сытости стали смышлять для себя какую по мыслям потеху. Заприметили — народ летом по воскресным дням за пруд ездит. Поглядели. Место вроде поглянулось, только постройкой никакой нет. Разузнали, что зовут это место Веселухин ложок. И про то им сказали, что строенье тут заводилось три раза, да Веселуха сожгла. Немцы, понятно, спрашивают:

— Кто есть Веселук?

Им в шутку и говорят:

— Про то лучше всех знает Панкрат, Веселухин брат.

Этот Панкрат мастером при заводе был, по украшенному цеху. По рисовке из первых и на выдумку по своему делу гораздый. Не один узор да расцветка панкратовой выдумки в большом спросе ходили. А характеру самого веселого. Наперебой его на свадьбы дружкой звали. С ним, дескать, всякому весело станет, потому балагур да песенник, и плясать без устатку мог. Недаром его Веселухиним братом прозвали.

Вот немцы и спрашивают этого мастера:

— Твой есть сестра Веселук?

Панкрат, своим обычаем, и говорит:

— Сестра не сестра, а маленько родня, потому — обоих нас со слезливого мутит, с тоскливого — вовсе тошнит. Нам подавай песни да пляски, смех да веселье, и прочее такое рукоделье.

Немцы, ясное дело, шутки не поняли, спрашивают, — какая Веселуха собой?

Панкрат тоже не стал голоса спускать, шуткой говорит:

— Бабёнка приметная: рот наростопашку, зубы наружу, язык на плече. В избу зайдёт — скамейки заскачут, тубаретки в пляс пойдут. А коли ещё хмельного хлебнёт, тогда выше всех станет, только ногами жидка.

Немцы даже испугались:

— Какой ушасный женьшин! Такой песпоряток делает. Найти такой ната! Найти!

— Найти, — отвечает Панкрат, — мудрено: зимой из-под снега не выгребешь, летом — в траве не найдёшь.

Немцы всё-таки добиваются: скажи, в каком месте искать и чем она занимается. Панкрат и говорит:

— Живёт, сказывают, в ложке, за прудом, а под которым кустом, это каждому глядеть самому надо, да не просто так, а на весёлый глаз... В ком весёлости мало, можно из бутылки добавить.

Это немцам по нраву пришлось, захмылялись:

— О, из бутылка можно! Это мы умеем.

— А ремесло, — говорит Панкрат, — у Веселухи такое. С весны до осени весь народ радуется сплошь, а дальше по выбору, только тех, у кого брюхо в подборе, дых лёгкий, ноги дюжие, волос мягкий, глаз с крючечком да ухо с прихваткой.

Немцы про дых да брюхо мимо ушей пропустили, потому — каждый успел брюхо наростить и задыхался, как запалённая лошадь. Про мягкий волос не по губе пришлось, потому у всех подбор головы ржавой проволокой утыканы. Зато ногами похвалились. Хлопая себя по ляжкам, притоптывают:

— Это есть сильный нога. Как дуб. Крепко стоять могут.

Панкрат на это и говорит:

— Не те ноги дюжие, которые неуклюжие. Дюжими у нас такие зовут, что сорок вёрст пройдут, вприсядку плясать пойдут да ещё мелкую дробь выколачивают.

Насчёт глаза да уха немцы заспорили:

— Такой бываешь не может.

Панкрат всё-таки на своём стоит:

— Может, в вашей стороне не бывает, а у нас случается.

Тогда немцы давай спрашивать, какой

это глаз с крючечком и какое ухо с прихваткой.

— Глаз, — отвечает, — такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может: хоть на сорочьем хвосте, хоть на палом листе, на звериной тропке, в снеговом охлопке. А ухо, — которое держит, что ему полюбилось. Ну, там мало ли: как рожь звенит, сосна шумит, а то и травинка шуршит.

Немцы, конечно, этого ни в какую не разумеют. Спрашивают, почему на сорочий хвост глядеть, какой прибиток от палого листа, коли ты не садовник. Панкрат хотел им это втолковать, да видит — на порошок не понимают, махнул рукой да и говорит прямо:

— Коли такое ваше разумение, никогда вам нашей Веселухи не повидать.

Немцы на это не согласны, своё твердят: все кусты, дескать, повиыдержаем, все корни выворотим, а найдём. Без этого никак нельзя.

— Эта Виселук ошень фретный женьшин. Она пожар делает.

Панкрат смекает, — вовсе не туда дело пошло. От этих дубоносых всего жди. Могут и всамделе хорошее место с концом извести. Тогда он и говорит:

— Да ведь это вроде шутки. Так, разговор один про Веселуху-то.

Ну, немцы не верят — какой есть разговор, когда пожары были.

— Что ж, — отвечает Панкрат, — пожар всегда случиться может. Не доглядели за огнём — вот и сгорело. Последний вон раз вся барская стража пьянёхонька была.

Немцы прицепились к этому:

— Ты откуда это знаешь?

Панкрат объясняет: в народе так сказывали.

Немцы своё:

— Скажи, кто говорил?

Панкрат подумал — ещё подведёшь кого ненароком, и говорит:

— Не упомяну.

Немцам это подозрительно стало. Долго они меж собой долдонили по-своему. Не то спорили, не то сговаривались. Потом и говорят:

— Скажи, мастер Панкрат, какие приметы этой женщины Виселук?

Панкрат отвечает:

— Говорил, дескать, что это разговор только. Так сказывают, — молодая бабочка, из себя пригожая, одета цветисто, в одной руке стакан пранёного хрусталя, в другой бутылка.

Немцы вроде обрадовались, давай ещё спрашивать: какой волос у женщины, нет ли приметок каких на лице, в которой руке стакан, какая бутылка. Одним словом, всё до тонкости. Панкрат рассказал, а немцы и заготовили:

— Ага! Попался! Теперь видим, что Виселук знаешь. Показывай её квартир, а то плохо будет.

Панкрат, конечно, осерчал и говорит:

— Коли вы такие чурки с глазами, так не о чём мне с вами разговаривать. Делайте со мной, что придумаете, а от меня слов не ждите.

Время тогда ещё крепостное было. У немцев в заводе сила большая, потому как всё главное начальство из них же было. Вот и начали Панкрата мытарить. Чуть не каждый день спросы да распросы, да всё с приправью. Других людей тоже потянули. Кто-то возьми и сболтни, что про Веселуху ещё такое сказывают, будто она узоры да расцветку иным показала. И про Панкрата упомянули, — сам же сказывал, что расцветку на ноже из Веселухина ложка принёс. Немцы давай и об этом доискиваться. По счастью ещё, что панкратова расцветка им не поглянулась. Не видно, дескать, в котором месте синий цвет кончается, в котором голубой. Ну, всё-таки спрашивают:

— Сколько платил Виселук за такой глюбой расцветка?

Панкрат на тех допросах отмалчивался, а тут за живое взяло.

— Эх, вы, — говорит, — слепыши немецкие! Разве можно такое дело пятакон али рублём мерить? Столько и платил, сколько маялся. Только вам того не понять, и зря я с вами разговариваю.

Сказал это и опять замолчал. Сколько немцы ни бились, не могли больше от Панкрата слова добыть. Стоит белёхонек, глаза вприщур, а сам ухмыляется и ни слова не говорит. Немцы кулаками по столу молотят, ноги оттопали, грозятся всяко, а он молчит.

Ну, всё-таки на том, видно, решили, что Веселухи никакой нет, и той же зимой стали подвозить к ложку брёвна и другой материал. Как только обтаяло, завели постройку. Место от кустов да деревьев широко очистили, траву тоже подрезали, и чтоб она больше тут не росла, речным песком эту росчисть засыпали. Рабочих понатгнали довольно и живёхонько построили большущий сарай на столбах. Пол настлали из толстенных плах, а столы, скамейки и тубаретки такие понаделали, что, не пообедавши, с места не сдвинешь. На случай, видно, чтоб не заскакали, ежели Веселуха явится.

В заводе тоже по этому делу старались: лодки готовили. Большие такие. Человек на сорок каждая.

Ну, вот. Как всё поспело, немцы своей оравой и поплыли на лодках к Веселухину ложку. Дело было в какой-то праздник, не то в троицу, не то в семик. Нашего народу по этому случаю в ложке много было. Песни, конечно, поют, пляшут. Девчёлки, как им в обычае, хоровод завели. Одним словом, весна. Увидели, что немцы плывут, сбежались на берег поглядеть, что у них будет.

Подъехали немцы, скучились на берегу и давай истошным голосом какое-то своё слово кричать. По-нашему, выходит, похоже на Дритатай. Покричали-покричали это Дритатай да и убралась в свой сарай. Что там делается, народу не видно, — потому сарай хоть с окошками, да юни высоко. Видно, неохота было немцам своё веселье нашим показывать.

Наши всё-таки исхитрились, пристроились к этим окошечкам, сверху глядели и так сказывали. Сперва, дескать, немцы-мужики пиво пили да трубки курили, а бабы да девки дофием наливались. Потом, как все надоволились, плясать вроде стали. Смешно против нашего-то. Известно, в немце ловкости, как в пятипудовой гире, а баба немецкая вроде перекистой квашни, вот-вот тесто поползёт. Ну, и толкутся друг против дружки парами, аж половицы говорят. Мужики стараются один другого перетопнуть: чтоб, зна-

чит, стукнуть ногой покрепче. У баб своя забота, как бы от поту хоть маленько ухраниться. Все, конечно, голоруды, голоруки, а комар тоже своё дело знает. По весенней поре набилось этого гнуса полнѣхонек сарай, и давай этот комар немок донимать. Наши от гнуса куревом спасаются да на воле-то его, бывает, и ветерком относит. Ну, а тут комару раздолье вышло. Тоже и одежа наша куда способнее. Весной, небось, никто голошеим да голоруким в лес не пойдѣт, а тут, на-ко, приехали наполовину нагишѣм! Туго немцам пришлось, только они всё-таки крепятся — желают, видно, доказать, что комар им — тьфу. Только недаром говорится, что вешний гнус не то, что человека, животину одолеет. Невтерпѣж и немцам пришлось. Кинулись к своим лодкам, а там воды полно. Стали вычерпывать, а не убывает. Что такое? Почему? Оказалось, все донья решетом сделаны. Какой-то добрый человек потрудился, — по всем лодкам напарьей дыр понавертел. Вот те и Дритатай.

Пришлось немцам кругом пруда пешком плестись. Закутались, конечно, кто чем мог, да разве от весеннего гнуса ухраниться. А на дороге-то ещё болотина придохится. Ну, молодяжник наш тоже маленько позабавился, — добавил иным немцам шишек на башках.

Долго с той поры немцы в сарай не показывались. Потом насмелились всё-таки, на лошадях приехали, и телеги своей немецкой работы. Тяжёлые такие, в наших краях их долгушами прозвали.

Время как-раз середка лета, когда лошадиный овод полную силу имеет. На ходу да по дорогам лошади ещё так-сяк терпят, а стоять в лесу в такую пору не могут. Самые смиреные лошаденки и те дичают, бьются на привязи, оглобли ломают, поводя рвут, себя калечат. Пришлось лошадей распрягать, путать да куревом спасать. Ну, немцам, которые на барском положении приехали, до этого дела нет, — понадеялись на своих кучеров, а те тоже к этому не привычны. В лес едут на це-

лый день, а ни пут, ни боталов не захватили. Пришлось припутывать чем попало и пустить вглухую, без звону, значит. Занялись костром, а тоже сноровки к этому не имеют.

Остальные немцы опять покричали своё Дритатай и убралась в сарай. Там всё по порядку пошло. Напились да толкошиться стали, плясать то-есть по-своему, а до лошадей да кучеров им и дела нет.

Лошади бьются, понятно. Пути позорвали. Иные с боков обгорели, потому как эти немецкие кучера вместо курева жаровые костры запалили. Тут ещё опять добрый человек нашѣлся: по-медвежьи рявкнул. Лошади, известно, вовсе перепугались, да по лесу. Поищи их вглухую-то, без болтов! Пришлось не то что кучерам, а и всем немцам из Дритатай по лесу бродить, да толку мало. Половину лошадей так найти и не могли. Они, оказалось, домой с перепугу убежали. А немцы, — видно, про запас от комаров, — много лишней одежи понабрали. Им и довелось либо эту одежу на себе тащить, либо в свои долгуши, заместо лошадей, запрягаться. На своём, значит, хребте испытали, сколь эта долгуша немецкой выдумки легка на ходу. Ну, а как по лесу за лошадями бегали, наш молодяжник тоже этого случая не пропустил. Не одному немцу по хорошему фонарю поставили: светлее, дескать, с ним будет.

Солоно немцам эта поездка досталась. Долго опять в своём сарае не показывались. В народе даже разговор прошѣл: не приедут больше. Ну, нет, не утомонились. В осенях приплыли на лодках. Сперва покричали на берегу своё Дритатай, потом пошли в сарай. У лодок на этот раз своих караульных оставили. В сарае немецкое веселье по порядку пошло. Насосались пива да кофию и пошли толкошиться друг перед дружкой. Радѣхоньки, что комара нет и не жарко — толкуются и толкуются, а того не замечают, что время вовсе к вечеру подошло. Наш народ, какой в тот день на ложкѣ был, давно поразѣхался, а у немцев и думки об этом нет. Только вдруг прибе-

жали караульные, которые при лодках поставлены, кричат:

— Беда! Волки кругом!

Время, видишь, осеннее. Как-раз в той поре, как волку стаями сбиваться. На человека в ту пору зверь ещё на скакивать опасается, а к жилью по ночам вовсе близко подходит. Кому запоздниться в лесу или на пруду случится, тоже от тех не отходит, сидит близко, глаз не спускает, подвывает да зубами ляскает: дескать, съел бы, да время не пришло.

Ну, вот, выскочили немцы из сарая. Глядят — вовсе темно в лесу стало. Народу нашего по ложечку никого. В одном месте костерок светленько так горит, а людей тоже не видать. А из лесу со всех сторон волчья глаза.

Немцам, видно, не поглянулись фонари да шишки, какие им наш молодежник добавлял в те разы. Вот немцы и оборузились, — прихватили не то для острастки, не то для бою пистолетики. Испугались волков да и давай из этих пистолетиков в лес стрелять, а это уж испытанное дело: где один волк был, там пятёрка обозначится. Набегают, что ли, на шум-от, а только это завсегда так.

Немцы, конечно, и вовсе перепугались, не знают, что делать. А тут ещё у костерка женщина появилась. К огню-то её хорошо видно. Из себя пригожая, одета цветисто. В одной руке стакан гранёного хрусталя, в другой штоф зелёного стекла.

Стоит эта бабёнка, ухмыляется, потом кричит:

— Ну, дубоносые, подходи моего питья отведать. Погляжу, какое ваше утро в полном хмелю бывает.

Немцы стоят, как окаменелые, а бабёнка погрозилась:

— Коли смелости нехватает ко мне

подойти, волками подгоню. Свистну вот!

Немцы тут в один голос заорали:

— То Виселук! Ой, то Виселук!

В сарай все кинулись, а там немецкие бабы-девки визгом исходят. Двери в сарай заперли крепко-накрепко да ещё столами-скамейками для верности завалили, и целую ночь слушали, как волки со всех сторон подвывали. Наутро выбрались из сарая, побежали к лодкам, а добрый человек опять потрудился — все донья напарьей извертел, плыть никак невозможно.

Так немцы эти лодки тут и бросили и в сарай свой с той поры ездить перестали. На память об этом немецком веселье только этот сарай да лодки-дыроватки и остались. Да вот ещё это слово немецкое, которое они кричали, к месту приклеилось. Нет-нет и молвят:

— Это ещё в ту пору, как немцы на Веселухином ложке свой Дритатай устроить хотели, да Веселуха не допустила.

На Панкрата немцы, сказывают, ещё наседали, будто он всё это подстраивал. К главному управителю потащили, горного исправника науськивали, да не вышло.

— Комаров, — говорит, — не наряжал, с оводами дружбу не веду, волков не подговаривал. Кто немцев по кустам бил, — пусть сами битые показывают. Только работа не моя. От моей-то бы тукманки навряд ли кто встал, потому — рука тяжёлая, боюсь её в дело пускать. Кто дыры в лодках вертел да медведем ревел, тоже не знаю. В те праздники на Таганаях был. Свидетелей поставить могу.

Тем и отошёл, а сарай немецкий долго ещё место поганил. Ну, потом его растащили помаленьку. Опять хороший ложок стал.

ПЕРВЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

ВЛ. И. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

★

Тбилиси. По-тогдашнему — Тифлис...
Театральные мои воспоминания начинаются, кажется, с первого класса гимназии — зимы 1868—1869 года, когда мне минуло девять лет.

Почему говорю «кажется»? Я общился к грамоте очень рано. Когда отец умер, мне не было пяти лет, а я уже читал и считал. В семейной хронике сохранился рассказ о моих первых уроках. Это было в Стародубе Черниговской губернии. В отсутствие отца я пробрался к нему в кабинет, вытащил из библиотеки какую-то книгу, сел на пол и начал из этой книги вырывать по листику. Отец вошёл как-раз в то время, когда я, весь окружённый листиками книги, сосредоточенно и аккуратно вырывал из неё последние.

— Что ты делаешь?! — крикнул изумлённый отец.

— «Прочитаа!» — с гордостью ответил я.

Отец не наказал меня а начал объяснять, что за такое чтение шлёпают, если же я хочу читать как следует, — то — «давай учиться».

После его смерти мать увезла нас на свою родину на Кавказ, где у неё были довольно состоятельные братья, мои дяди. «Нас» — это четыре мальчика и одна девочка. Осталось в памяти, словно запомнившиеся сны: переезд в большом фургоне, как вот цыгане ездят, потом шёлковые рубашки в розовых клетках на пароходе, и опять на лошадях по горной дороге с пропастью направо.

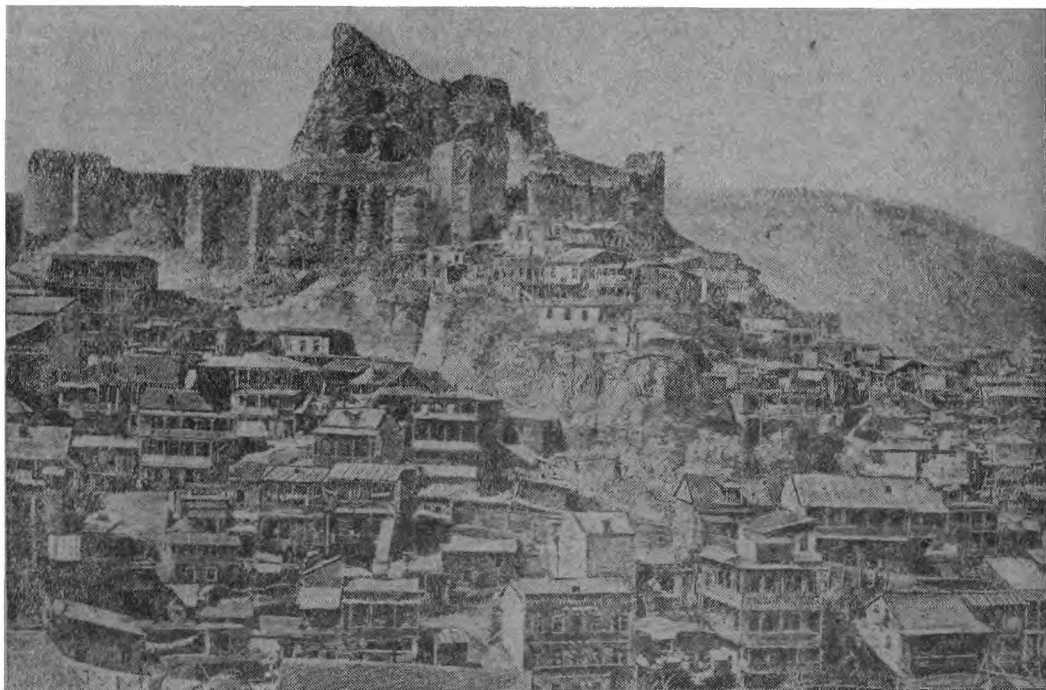
Мне было восемь лет, когда мать повела меня в гимназию. Я легко выдержал экзамен в первый класс, но оказалось, что, по правилам, восьмилетних принимают только в подготовительный. А там мне делать было нечего.

И, может быть, мать уже водила меня в театр в этот год моего невольного безделья? Никак не припомню точно.

В эту пору я был около матери один. Пользуясь тем, что отец умер в чине подполковника, мать смогла поместить брата моего Ивана, бывшего старше меня на восемь лет, в юнкерское училище, а сестру Варвару, тоже постарше меня, в институт благородных девиц, — кажется, он назывался «Институт святой Нины». Два моих младших брата рано умерли. Что касается самого старшего, Василия, то я его и увидал-то впервые, когда уже переходил в восьмой класс; он после своего большого литературного успеха («Соловки» в «Вестнике Европы») приехал в Тифлис.

И брат Иван, и сестра Варвара были помещены оба на казённый счёт, в учебных заведениях они и «экипировались» — он в военную форму, а «Цитра» в зелёное платье — униформу с белой пелеринкой на плечах. Мать звала Варю Цитрой. В конце концов, заботы матери сосредоточились на долгое время почти целиком на мне одном.

Мать любила театр, ходила туда очень часто и всегда брала меня с со-



Развалины крепости старого Тифлиса

бой. Думаю, что ей, молодой ещё вдове, было неловко появляться в «свете» одной. Не позволяла строгая буржуазная мораль. Помню, например, такой её манёвр.

За нею начал ухаживать полковой командир князь Григорий Голицын. Этот Голицын, красавец, послужил потом прототипом для имевшего успех светского романа Маркевича «Четверть века». Там он фигурировал под именем Гри-Гри. Моя мать была очень красивая женщина. Так вот, помню, оба раза, когда он приходил к ней якобы с невинным визитом, она приказывала мне заранее, чтоб я не оставлял их одних. Воображаю, как этот красавец-полковник ненавидел мальчишку!

Та же мораль, очевидно, давала мне возможность и посещать театр.

Театр находился в Караван-Сарае. Это вроде московского или ленинградского Гостиного двора. Только, конечно, гораздо меньше. В середине здания театр, а кругом него магазины. Театр был небольшой, уютный, красивый, то

ли в узорчатом мавританском стиле, то ли раскрашенный под персидские ковры. Верхнего яруса или галёрки я совсем не помню. Хорошо помню партер и ложки бенуара, причём две ложки против сцены, по бокам у среднего прохода, были закрыты решётками — вероятно, для мусульманок, не имевших права показываться на люди с открытым лицом. А может быть, в этом был какой-то особенный шик архитектуры?

Театр был императорский, как в Москве и Петербурге. В завоеванных странах проводилась культура мира и покоя, театры должны были этому способствовать. А в то время атмосфера была ещё насыщена свежим воспоминанием о боях с горцами. Имя Шамиля, — это я отлично помню, — произносилось постоянно, много раз на дню, как одно из самых популярных. А смена караула у гауптвахты, в 12 часов дня, производилась торжественно: военный оркестр, играя бравурный марш, проходил через весь город по Головинскому проспекту: характерная демонстра-

ция силы. Так как это происходило в «большую перемену», то есть между половиной двенадцатого и двенадцатью, то мы, гимназисты, сбегались к своему забору поглазеть. А ровно в 12 стреляла пушка.

Оркестр чаще всего играл Персидский марш, — часть его вы знаете по первому хору у Ратмира («Руслан и Людмила»).

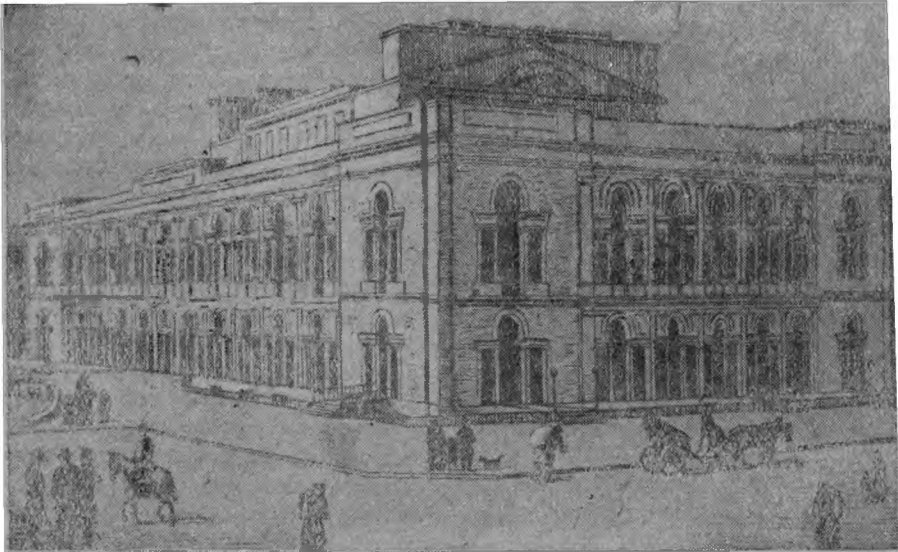
И ещё помню: с плоской крыши соседнего дома, в толпе любопытных, я старался разглядеть, как вешают бунтовщиков — там, далеко, в нагорном квартале старого Тифлиса, в Авлабаре или в Навтлуге: недавно был «бунт», какого-то представителя гражданской власти сбросили с балкона на растерзание толпы; трое зачинщиков были приговорены к повешению...

Наместником Кавказа был великий князь Михаил Николаевич, брат Александра Второго. Я видел его раз: по случаю приезда персидского шаха Насреддина весь город был иллюминирован сальными плашками, народ гулял, толпился перед дворцом, и великий князь с шахом выходили на балкон кланяться. Видел я его и ещё раз, когда он на какое-то торжество приходил в гимназию.

Михаил Николаевич старался привлечь симпатии туземной буржуазии, делал даже либеральные жесты, вроде такого: когда я был уже в седьмом классе, то рядом со мной на парте сидел юный офицерик, сын Михаила Николаевича, Николай. Сидящий в сторонке адъютант следил за ним. Впрочем, гимназический курс Николая Михайловича продолжался не более года, причём по истории он был много впереди нас, а по математике и словесности отставал.

Театр оставался императорским в течение первых четырёх-пяти лет моих воспоминаний. Управляла им дирекция из трёх лиц с толковником Философовым во главе. В памяти — полная фигура с белыми аксельбантами в правой литерной ложе.

Дело велось широко. Тут были и итальянская опера, и русская драма, и даже зарождавшаяся тогда оперетка. Пожалуй, самое большое место в моих первых воспоминаниях занимает итальянская опера. Вероятно, мать посещала ее особенно часто. Я и сейчас плохо понимаю, как в моей детской памяти могло уместиться за короткий срок, рядом с драматическими представлениями, так много оперных. Яркие,



Караван-Сарай с театром.

разнообразные пятна, большие вокальные и музыкальные куски и костюмные фигуры. Тут больше Доницетти и Беллини, но тут и Россини, и Флотов, и Обер, и Вебер, и Верди, и даже Моцарт. «Африканка» с тёмнокожей героиней и героически-пленительным Васко-де-Гама, и почему-то запомнившимся хором-унисоном... «Зора» с Моисеем, размахивающим жезлом... «Лючия ди Ламермур» с особенно волновавшим мою мать знаменитым секстетом... «Сомнамбула» с женщиной — вся в белом, лунатик... «Динора» с козой, перебегающей по мостику, и с виртуозным вальсом, — как говорили около меня: соперничество певицы с флейтой. Когда я, уже студентом, слушал в «Диноре», в Москве, мировую знаменитость Пятти, оперу я уже знал... «Норма», которую мы смотрели, вероятно, много раз, так как я и мать распевали дома и «Casta diva», и женский дуэт, и даже увертюру... «Волшебная флейта», «Марта», «Фра-Дьявол», «Роберт-Дьявол», «Сицилианская вечерня», «Трубадур», «Бал-маскарад», «Любовный напиток», моцартовский «Дон-Жуан», «Ломбарди»... Много позднее, уже студентами, мы на мотив застольной песни из «Ломбарди» пели некрасовское «Укажи мне такую обитель»... На «Дон-Жуане» я был в ложе вместе с моей маленькой двоюродной сестрой. Когда Дон-Жуан в последнем акте заматался, не зная, куда бежать от призраков, моя кузина закричала ему на весь театр: «Сюда, сюда! К музыкантам!»

Я, конечно, не могу припомнить всех своих переживаний во время этих представлений, как не могу и живописно рассказать вам о юношеском трепете первого посещения театра, что так мастерски делают мемуаристы. Может быть, мне изменяет память, а вернее — мемуаристы тоже не помнят, а сентиментально сочиняют свои представления о том, как это должно бы было происходить.

Не раз я слышал, что тифлисы очень любили музыку, пение, в частности итальянскую оперу. Множество оперных мелодий запомнилось ещё по-

тому, что их играли и военные оркестры в городском саду, и... шарманки.

Под моим окном второго этажа, по ту сторону улочки, была лавка. Обыкновенная южная лавка, открытая, с горками чанов, наполненных, смотря по сезону, крупной «шпанской» черешней, вишней, курагой, абрикосами, алычой, орехами, виноградом, с большими кучами арбузов и дынь, освещёнными большой висящей «фотогеновой» лампой, — так тогда, кажется, назывался керосин: нефть, — фотоген. Лавочника я, конечно, знал очень хорошо. Звали его Эстат. Толстый, спокойный, в засаленном архаике, всегда с готовой остротой. Подходит чиновница. «Почём гуляби?» (сорт груш). «Дэсят копеек фунт». — «А сколько в фунте?» — «Вэсим — посмотрим». — «Всё-таки сколько?» — «Два-три будет». — «Так мало и так дорого?!» — «Хочишь много и дешёво — орехи покушай».

Подходит старенькая кухарка. «Петрушки мне на копейку». — «Ва! На копейку петрушки? Что ж тебе — гости пришли?»...

Он очень любил шарманку. Не было вечера, чтобы к нему не приходил шарманщик и за шаур (пятак) играл вальсы, польки, арии и даже хоровые номера. Вот в эту минуту, когда пишу, вспоминаю «Герцогиню Герольштейнскую» и всю обстановку лавки... Я знал и инструментальную мастерскую на Головинском проспекте, где делались шарманки, и часто подолгу простаивал возле неё, наблюдая, как мастер накалывал спицы на вал.

Сохранились в памяти имена нескольких певцов: драматическое сопрано Аранчо-Гверини, баритон Баки-Перего с шикарнейшей длинной бородой, с которой он не расставался. И Карл в «Эрнани», и граф Люна в «Трубадуре». Много-много лет спустя я встретил эту фамилию в одном из небольших итальянских городов на парикмахерской вывеске. Легко вспомнить первую меццо-сопрано, красивую женщину, с небольшим, но приятным голосом, русскую Абаринову, впоследствии видную актрису Александрии-

ского театра в Петербурге. Вот помню её поощею по-итальянски в «Норме» и в «Трубадуре», а потом по-русски в комической опере Доницетти «Дочь полка» и в оффенбаховских «Птичках певчих» («Перикола»).

Помню, первая скрипка — красивый итальянец Труффи — остался в Тифлисе и после того, как опера распалась. Потом он стал и дирижёром, и хозяином оркестра. Мы, гимназисты, его за что-то любили.

Может быть, за то, что он при встречах за нами, хлопальщиками, немножко ухаживал, и за его красивые откидные волосы...

Современному нам театральному посетителю может показаться невероятным, как в небольшом театре, на небольшой сцене могло помещаться декорационное и бутафорское имущество такого громадного количества оперных и драматических представлений. Современный театрал знает сцену, как большую пустую площадь, на которой и ставятся, акт за актом, разные декорации, да ещё для каждой пьесы особые. Тогда же для всех спектаклей, и оперных, и драматических, были одни и те же декорации. Их было немного: три стены «мещанской» комнаты, поставленные трапецией перед рампой с холщевыми окнами, на которых написаны и рамы, и синее небо вместо стекла; такие же стены «богатой» комнаты; затем опускаемые занавесы в глубине. Готического зала, «леса» и какого-то города в старо-немецком стиле. При стенах комнат были лёгкие малёванные двери, о потолках не было и помину; к готическому залу справа и слева приставлялись дверь или окно; эти пристановки назывались почему-то «кабинетами». С боков сцены были «кулисы», — слово, ставшее, как известно, символом связи со сценой, с актёрами. Количество кулис зависело от размеров сцены: три, много четыре «плана» справа и слева; в самом большом театре бывало не более шести планов. Обычно кулисы были кирпично-императорского цвета, а когда нужен был лес, они по рейкам отодвигались, и на

их место продвигались лесные. Каждая кулиса скрывала от публики висячую рампу с несколькими лампами под железной сеткой для освещения сцены с боков. Позднее лампы были заменены газовыми рожками. У главной рампы на авансцене была «зорька», этакий длинный экран вдоль рампы, затянутый синей материей. Когда по пьесе нужны были вечер или лунная ночь, рука из-за кулис, тщетно старающаяся скрыться от публики, приподнимала этот экран какими-то рычаговыми приспособлениями. «Электрическое солнце», оно же и луна, шипящее из-за первой кулисы и освещающее лирически настроенных любовников, появилось много позднее.

Впечатления театра были ещё так свежи, что иллюзия достигалась дешёвыми приёмами. Но иногда «режиссёр» щеголял и более сложными эффектами: мостик, по которому пробегала настоящая живая коза, люк, в который проваливался Дон-Жуан или из которого появлялись разные чудеса в представлении «Волшебные пилюли, или что в рот, то спасибо». Или поражал режиссёр штормом на море, — то ли в «Африканке», то ли в «Моисее». Пытливый мальчик узнал, что под большим холстом, изображавшим синее море, двигались на четвереньках солдаты, что и давало иллюзию морских волн...

«Режиссёром» в опере был итальянчик Дума, который, как и Труффи, тоже остался в Тифлисе.

И мебель, и «бутафория» повторялись из одного спектакля в другой. Слово «постановка», разумеется, ещё не родилось. Запомнилась мне сенсация. В бенефис дочери режиссёра Яблочкина давалась светская пьеса «В людях—ангел, не жена, дома с мужем—сатана». И комната была обставлена изящной мебелью и коврами. В нашей ложе говорили, что это Яблочкин прислал из своей квартиры.

Ну, конечно, во всех операх, всех эпох и стилей, были те же деревянные бокалы, которыми певцы, хористы и меццо-сопрано в трико размахивали в

бравурных застольных ариях, не проливая ни капли «вина».

И гримы были простые. Они сводились к стариковским парикам, водевильным лысынам, франтовским бородам с усиками. И бороды у хористов были привязные, а не наклеенные...

Всё это было примитивно, но никому и в голову не приходило ожидать большего. Главной статьёй расхода были певцы, актёры. И это всецело отвечало требованиям зрителей. Певец и актёр захватывали всё наше внимание. Нам нравилось, что они хорошо поют или хорошо играют. Герои нравились больше, злодеи меньше. Нравилось и то, что мы их уже узнаём в походке, в жестах, и что знаем их фамилии, и что слышали уже кое-что об их интимной жизни, — кто на ком женат и кто где прославился до Тифлиса, и кто в ближайший бенефис будет развозить посетителям лож и первых рядов атласную афишу с красиво-бледными золотыми буквами. За эту почтительность платили добавочной суммой к стоимости билета, что называлось «призами».

Рассказать подробно, как я воспринимал музыку, я, конечно, не могу, но одна черта восприятий сохранилась в памяти очень отчётливо. Впечатление приятной, завлакивающей грусти. Откуда она? Не раз я об этом задумывался. Никаким скрытым недугом я не страдал. Склонности к меланхолии тоже не было. Что-нибудь от южной крови, армянской — матери, или украинской — отца? И мать слушала музыку, всегда печально склонив голову набок. Может быть, это была просто свойственная армянкам манера несколько сентиментального воспитания. А может быть, шло, как и во мне, от самой сущности музыкальной стихии, её лирических волн. Неясность и несбыточность красивой волнующей мечты?..

Даже потом, позднее, когда построен был летний театр, в антрактах между водевилями устраивались концерты. По другую сторону театра, лицом в сад, была устроена оркестровая раковина. Дирижёром был тот самый Труффи. Он дирижировал смычком, он же, как тогда

полагалось, играл и на скрипке. Репертуар был обычный, лёгкий: увертюры из опер «Цампа», «Норма», «Сорока-воровка», «Вильгельм Телль», увертюры Зуппе: «Пиковая дама», «Крестьянин и поэт», «Легкая кавалерия», «Прекрасная Галатей», не помню чья — «Пробуждение льва», попури из разных опер, марши и вальсы, вальсы Штрауса, входившие в моду вместе с долетавшей до нас из Петербурга славой летних концертов Павловска. Казалось бы, где найти место для щемящей, хотя и сладкой тоски? А между тем я крепко запоминал, и в своём театрике на подоконнике повторял, заменяя собственным пением целый оркестр, как-раз те куски Штрауса, в которых скрипки особенно «хватали за душу». Любопытно, что и позднее, уже юношей, я даже из опереток Оффенбаха уносил с собой скорее их лирические куски, чем канканные. Всегда оставался равнодушным к куплетам, а на всю жизнь старался запомнить смерть Эвридики из «Орфея в аду» или дуэт Париса с Еленой, или «мелодраматические» куски оттуда же.

А об оперных ариях и говорить нечего. Все они уносили «куда-то».

Музыкальные впечатления юности завершались позднее фортепьянным и вокальным репертуаром. Мать настояла, чтобы сестра ещё в институте «училась музыке». Так что, когда Варя окончила институт, то уже была недурной пианисткой. Значит: «Патетическая соната» Бетховена, «Приглашение на вальс» Вебера, маленькие вещи Моцарта, серенада Шуберта, ноктюрны, вальсы, мазурки Шопена и т. д., и т. п. Но у сестры оказался к тому же и хороший голос, появился учитель пения, а отсюда и знаменитый вальс «Il vassio», и Варламов, Алябьев, Монюшко, Гурилёв, и бесчисленные романсы и арии из опер. (Сестра впоследствии стала актрисой-певицей.)

★

Драматическая труппа составлялась из провинциальных русских актёров, но в большей части из молодёжи Петербургской или Московской император-

ских школ. Как говорили, эту молодёжь посылали сюда для практики. Однако командировали и актёров, которые хотя и способны были играть первые роли, но не на столичной сцене. На актёрском же рынке служба в Тифлисском театре считалась очень заманчивой. Прежде всего уже потому, что была материально обеспечена.

Из самых первых впечатлений в сезоне 1868—1871 годов ярко запомнились: «Гамлет», «Маскарад», «Гроза», «Горе от ума», «Шутники», «Бедность не порок», «Светские ширмы» (Дьяченко), «Не всё коту масленица», «Жертва за жертву»; множество старинных водевилей: «Жилец с тромбоном», «Андрей Степаныч Бука», «Что имеем, не храним, потерявши плачем», «Аз и Ферт», «Дочь русского актёра», «Слабая струна», «Тайна женщин», «Живчик», «Дело в шляпе», — легко припомнил бы ещё с десятков водевилей, — Григорьева, П. Каратыгина и пр., и пр. Репертуар составлялся, как и везде, из пьес, имевших успех в Москве и Петербурге, но, как видно, со строгим выбором. Совсем не было погони за крикливой мелодрамой, если не считать очень ходовых «Тридцать лет или жизнь игрока», «Железная маска»...

Почти с каждой пьесой у меня связаны какие-нибудь воспоминания. Так, Гамлета и Арбенина играл Аграмов. Сцены Арбенина и Нины помню так, будто видел их недавно, мизансцены были самые примитивные. Длинную фигуру Гамлета в чёрном плаще я изображал сам, закутываясь в чёрную шаль матери и импровизируя монолог «Быть или не быть». Призрака из «Гамлета» совсем не помню, как ни напрягаю память. Вообще, не выдумая, если скажу, что театральные, внешние эффекты быстро улетучивались из моей памяти, а актёрское (то есть человеческое поведение) сохранялось, манило к припоминанию, — что я и проделывал с карточными фигурами на своём широком подоконнике, — забава одинокого детства.

Аграмову, кажется, не повезло на поприще премьеры труппы, и он нашёл

себя в роли режиссёра. Впоследствии он считался лучшим режиссёром после Яблочкина. Москва знала его по театру Корша.

В «Грозе» Катерину играла С. В. Яблочкина, мать известной артистки Малого театра А. А. Яблочкиной, красивая женщина, не яркого темперамента, но, как выражались, умеющая «хорошо держаться на сцене». Играла она под фамилией Михайловой. Сам Яблочкин, второстепенный актёр, но умный и энергичный режиссёр, едва ли не первый режиссёр в русском театре, утверждавший свою волю, приехал сюда из Петербургского императорского театра вместе с женой Яблочкиной 1-й и дочерью от первого брака, очень талантливой Яблочкиной 2-й, или, как её называли в театральном мире, Женей Яблочкиной. Но, кажется, разрешение на отпуск у них было полуофициальное, и потому они обе играли под псевдонимами Михайловой и Светлановой.

Был с ними молодой Журин, актёр приятный и, что называется, «на все руки». Начал он как «второй любовник» и так называемый *jeune comique*, молодой комик, но пел и первые партии в оперетках, а потом стал и первым драматическим актёром. Он и Пигмалион в «Прекрасной Галатее», и Парис в «Елене», он и Макс в драме Антропова «Блуждающие огни», и Курчаев в драме Чернышова «Испорченная жизнь» и пр. Так, сегодня он произносит драматический монолог с бритвой, чтобы зарезаться, а завтра поёт и танцует в оперетке.

Журина у нас очель любили. Скоро он стал мужем Жени Яблочкиной. После Тифлиса я потерял его из виду. Ни он, ни жена его на императорскую сцену не вернулись, слонялись по провинциальным театрам, и слухи о них доходили самые печальные.

Большим успехом пользовался Леонид Соколов, впоследствии хорошо известный по театру Корша — Градов-Соколов. Как сейчас помню афишу его бенефиса «Горе от ума», обведённую греческой каймой. Он играл Репетило-

ва. Это из самых юных моих воспоминаний. В другом месте я рассказывал об этом спектакле. Почему-то осталось в памяти, что вместо «Танцовщицу держал, да не одну — трёх разом», Соколов говорил «шесть разом».

Сохранилось у меня такое воспоминание.

Директором гимназии был Желиховский. При нём в гимназии был рекреационный зал с гимнастическими приборами. Мы ловко, по-циркачески, кувыркались в воздухе. Желиховский любил театр, любил парады. Однажды в Тифлис приехал известный автор «Тарантаса», современник Тургенева, граф Салогуб, — Желиховский сделал ему в гимназии торжественный приём, представил его нам, или нас ему, в актовом зале, демонстрировал что-то хорошее или декламационное. Салогуб во время короткого пребывания в Тифлисе успел сочинить и поставить в театре одноактную пьесу «Ночь в духане», мы, гимназисты, аплодировали ему. Желиховский и в гимназии устраивал какие-то спектакли, а организатором пригласил Леонида Соколова. Но из-за чего-то они вскоре поссорились, и Соколов, играя Юпитера в «Орфее в аду», начал в «отсебятинах» прохаживаться насчёт «одного директора». И тогда у нас в гимназии было вывешено запрещение посещать театр, полное запрещение!

Ярким пятном осталась в памяти такая картина. Сверху вниз по лестнице несут директора. Младшие классы помещались в нижнем этаже, старшие, начиная с пятого, в верхнем.

Дело было так. Желиховский во время урока в самом старшем классе, — кажется, в седьмом, тогда восьмого ещё не было, — назвал учеников дураками. А в ту пору парни были весьма взрослые, кому 20, 22, а то и 25 лет. Гордые грузины давно уже хмурились, когда директор обращался с ними, как с мальчишками. Тут не выдержали или ждали случая и заранее сговорились, быстро накиннули ему на голову пальто и всем классом начали колотить.

Чуть ли не весь класс был уволен. Помню, несколько человек судились и

были сосланы и, помню, как 6—7 лет спустя, во время воскресной обедни в гимназической церкви появились молодые бородачи. Это были вернувшиеся из ссылки наши буяны, отбывшие наказание.

При мне Желиховский оставался недолго, его скоро заместил Л. Л. Марков, которого мы любили.

Из самых юных моих театральные посещения вспоминаю маленький летний театр в Муштаиде. Тогда в небольшом Тифлисе этот сад был загородным. На дачи в Коджори, Маглис, Белый Ключ уезжали только состоятельные семьи. В центре города был Александровский сад, пластовавшийся в трёх террасах, а кто имел возможность, укрывался от летней духоты за город, в Муштаид. Там был устроен «круг», и на нём привита мода московских катаний в Сокольниках и Петровских парках или петербургских на островах. Как бы дыша свежим воздухом, тифлиссцы медленно двигались по кругу в фаэтонах, — красивых экипажах с красными, жёлтыми или синими колёсами, — запряжённых парой лошадей. Я не раз слышал дома фразу вроде такой: «Ну, конечно, Зинка щеголяла новой шляпой». Вон как мы не отстаём от столицы! У нас тоже уже имеется известная куртизанка, если не в духе парижской Маргариты Готье, то в духе Каменноостровской Сашки или Женьки. Имя Зинки связывалось с именем крупного богача Наполеона Аматуни, выигравшего в один из первых тиражей двести тысяч.

В Муштаиде, в стороне от круга, и помещался летний театр. К нему надо было спускаться вниз по ступенькам. Сцена была небольшая, а бока зрительного зала затянуты парусиной. Если память меня не обманывает, труппу содержал барин, любитель театра, по фамилии Унтилов.

Почему я это запомнил?

Лет через 8—9 в Пятигорске по бульварам бродила большая, плотная фигура, полупьяная, нечистоплотная, с всклокоченными волосами. За ним иногда ходили мальчишки, дразнили его,

он бросал в них камнями. Рассказывали, что он часто подходил к дому, где жила его жена, прогнавшая его от себя за пьянство, говорил перед домом монолога, потрясал кулаками.

Вот это и был, как мне рассказали, бывший барин Унтилов, когда-то державший в Тифлисе Муштаидский театр.

Героиней труппы помню Немову-Лебедеву, первым актёром — её мужа Немова. Помню «Светские ширмы» Дьяченко. Остался у меня в памяти сценический трюк Немовой, о котором потом говорили с удивлением. В финале пьесы героиня умирает, а резонёр произносит около мёртвой обличительный монолог. Так вот, Немова ухитрялась лежать с застывшими открытыми глазами, ни разу не моргнув в течение длинного монолога резонёра.

Помню на этой сцене «Бедность не порок». Любима Торцова играл тот же Немов, а Немова — Анну Ивановну. «Простаком» был симпатичный актёр Каменский. В «Бедности не порок» он пел «Вдоль по улице метелица метёт» в темпе, далеко не таком бойком, как поют теперь, а в медленном, наклонном к грусти. Каменский, курносый блондин, пришепётывал, но его любили, кажется, даже и за это его пришепётывание. Он был любимцем дивертисмента. В те времена и в столичных театрах редкий спектакль обходился без дивертисмента. Особенно в моде были куплеты. В томе Курочкина, уже изданном советским издательством, вы бы нашли много стихотворений и куплетов, сочинённых специально для дивертисмента.

Отлично помню музыку куплетов, написанную в лёгком маршеобразном темпе:

Как-то раз перед особой знатной
Чиновник маленький стоял
И с улыбкой почтительно-приятной
Словам особы той внимал...

и т. д.

«Особа» говорила глупости, а чиновник отвечал на всё рефреном:

Ваша речь есть истина святая,
Ничего умней я не слышал...

И когда особа договаривалась уже до гиперболической глупости, то чинов-

ник как будто ошибался и спохватывался:

Ваша речь есть истина святая,
Ничего глуп... умней я не слышал, —

что, конечно, вызывало взрыв аплодисментов.

Как куплетист славился ещё больше Каменского всё тот же Л. Соколов. Особенно любила публика куплеты и требовала их повторений:

Как яблочко румян,
Одет весьма беспечно,
Не то, чтоб очень пьян,
Но весел бесконечно.
Вот, говорит, потехал
Ей-ей умру от смеха!..

Причём Соколов славно хохотал под музыку.

Или:

Фонарики-сударики
Горят себе, горят.
Что слышали, что видели,
Про то не говорят...

Куплеты пелись не под фортепьяно, а под оркестр, конечно, небольшой. А в антрактах этот оркестр играл вальсы, сентиментальные мелочи, марши.

Были в дивертисментах и другие номера. Например, одноногий итальянчик Донато, в каком-то костюме из блёсток, танцевал польку без костыля.

Но такой город, как Тифлис, не мог довольствоваться маленьким Муштаидским театром, и императорская дирекция построила настоящий театр, летний, мест на 500, в Инженерном саду. Это, если спуститься с Голивицкого проспекта по Баятинской, то налево, не доходя моста, — старого моста в стиле Флорентинского Ponto vecchio с лавками по середине его. Театр был хорошенький, с одним ярусом лож, с плафоном в подражание плафону московского Большого театра, с люстрой в центре четырёх муз, — в Москве их шесть.

Наша квартира была в двух шагах от Инженерного сада, куда мы ходили купаться в бассейне. Поэтому, пока театр строился, я все свободные часы, а летом и просто целые дни, проводил среди стружек, мусора и балок. Любил этот запах свежего дерева и гашёной извести, звук пилы и топора... Потрескавшаяся глинистая земля... Рядом с

протоптанной, ржавой травой и зелёная, пахучая... Большие доски, по которым поднимаются на сцену, над большой, широкой ямой, где потом будет партер... А потом, когда уже шли спектакли и вход в сад с нашей улицы был закрыт, я из своего окна, отрываясь от гимназических учебников, с тоской глядел на садовый фонарь, освещавший деревья, и слушал военный оркестр, игравший в антрактах попури из «Марты», увертюру Зуппе и т. п.

Открытие театра запомнилось. Давали три водевиля. Один из них был «Колечко с бирюзой», и играли его молодые актёры московского Малого театра, г. Музиль и г-жа Бороздина, молодожёны. Это — родители знакомой вам прекрасной артистки В. Н. Рыжовой.

Среди актёров того периода моих воспоминаний мелькают имена Егоровой — Софья в «Горе от ума», княгиня Резцова в «Ошибках молодости», — актрисы не крупного дарования, но, по доходившим до моего понимания разговорам, пользовавшейся особой протекцией у директоров; Надлера (помню даже: Федор Иванович), красивого холодноватого премьера; комика Протасова, имевшего у нас большой успех, хотя страдавшего странным недостатком: через каждые три-четыре слова произносил «цкум»; известных тогда в провинции Воронковского, Иловайского, «благородного отца» Арнольдова (позднее — Арского). Особой любовью пользовалась семья Маркс. Почему, не помню. Кажется, именно потому, что это была целая семья: отец, мать, две дочери. В добродетельно настроенной публике эта семейственность возбуждала симпатию. Мать была на ролях комических старух. Запомнилась шарманщица в «Шутниках». Одна из дочерей вышла замуж за богатого молодого человека из семьи Питовых, больших театралов, пользовавшихся в городе солидной репутацией. Их любовь к театру перешла и в следующее поколение: сын Питовых Маркс, *Meur Pitoeff*, создал уже на французском языке, в Париже, театр с большим креном к новаторству, имев-

ший хороший успех. Ещё недавно (в 1939 году) там играли «Чайку».

Таким образом, в городе с 400-тысячным населением были и итальянская опера, и драма, и летний театр. Скоро, однако, такое насаждение культуры оказалось наместнику не по карману, определился убыток, как говорили, в сто тысяч, дело ликвидировали, а театр на зиму 1872—1873 годов отдали в антрепризу Надлеру. У него труппа была только драматическая, сколоченная из провинциальных актёров. Связь с императорскими театрами Москвы и Петербурга прервалась. Может быть, Надлеру дали небольшую субсидию. Он повёл дело по обычному пути провинциального русского театра.

В этот год мать болела, и мы не посещали театра. За весь сезон надлеровской антрепризы я был в театре только раз, смотрел «Велизария», главную роль играл сам антрепренёр, а юношу знаменитый впоследствии Ленский. Он и тогда уже имел прекрасную репутацию, у Надлера был на первых ролях, играл Гамлета. Не в этом ли сезоне служила в Тифлисе и Глебова Мария Михайловна? Очень красивая, немного излишне полная, с прекрасным голосом. Впоследствии стала одной из первых провинциальных актрис на сильные драматические роли. Потом с мужем Соловцевым была принята в Петербург А. А. Потехиным на императорскую сцену. Скоро Соловцев ушёл, стал лучшим антрепренёром, и Глебова оставалась у него первой актрисой. (Она играла главную роль в «Лешем» Чехова на премьере...)

Театра в тот год я не посещал, был как-то далёк от его жизни. Но афиши продолжал изучать чрезвычайно внимательно. И каждый день, проходя по Голвинскому проспекту из гимназии домой, останавливался перед афишей и, не торопясь, вчитывался в неё. Красная афиша, на которой чёрные буквы казались зелёными. Эта маленькая страсть к театральной афише держалась во мне долго. Когда брат Иван вышел из юнкерского училища и поступил на службу в канцелярию губернатора, я

ходил к нему в канцелярию во время его ночных дежурств, чтобы пересматривать афиши, какие присылались со всего Кавказского края. Вероятно, воображение помогало мне рисовать театральные образы, заманчиво стоящие за афишей.

Но репертуар у Надлера был уже не такой отборный, как при дирекции. Тут налицо были все ходовые мелодрамы: «Графиня Клара д'Обервиль», «Уголино, или башня голода», «Розовый павильон», «Детский доктор», «Материнское благословение», «Преступление и наказание» («Кора»), — всё, что могло возбудить жадность к зрителю и чем я почему-то совсем не увлекался. И моё знакомство с большинством этих мелодрам так и не шло дальше изучения афиш и интуитивной догадки, что могло скрываться за афишей.

Для такой привередливой публики, как тифлисская, долго так продолжаться не могло. Театр предложили Яблочкину. Очевидно, его большой энергии стало тесно на петербургской императорской сцене. И Тифлис ему полюбился. И сам он с женой и дочерью полюбился Тифлису. И он взял театр по контракту на шесть лет с порядочной субсидией.

★

В моём ощущении надлеровский сезон совпал с какой-то чересполосицей между одним периодом моих юных воспоминаний и следующим. Совпал не только в театральных воспоминаниях, но и житейских.

Я вообще почему-то всегда любил «задворки», любил наблюдать за жизнью дворов, переулков, всего, что составляло не парадную сторону жизни. Это у меня сохранилось очень надолго. Да и как не проследить за «мушой» (муша — носильщик), который тащит на спине целое фортепьяно и возьмёт за это один или пол-абаза (20 копеек)? Или тулухчи, водовоз. Вряд ли сейчас в Тбилиси найдётся много стариков, помнящих тулухчи. На лошади или чаще на крупном катере, — помеси лошади и осла, — висят два бурдючка, соединённые на седле

и широкие в верхней своей части, куда прямо из реки вливается вода, — лошадь стоит в реке. В нижней части бурдючки узкие, перевязаны цепочкой—



Тифлиссский муша (носильщик)

отсюда вода выливается. Тулухчи, привезя воду, для равновесия развязывает отверстия по очереди, откуда выливает воду в бочку: то одно — то другое. И берёт за доставку воды один шаур, пяттак. И не наличными: кухарка принесёт палочку, на которой тулухчи сделает ножом отметку. Когда накопится 20, он и получит рубль. Лошадь поднимается по улице на гору зигзагами для облегчения, а тулухчи идёт сзади и завтракает: ест арбуз и чурек. Арбуз небольшой, тулухчи его режет — как огурцы чистят.

Недалеко от театра был так называвшийся Солдатский базар (или майдан). Там теснились южные открытые лавчонки и мастерские с их стуками, шумом, бранью и запахом чеснока и горячего бараньего сала. Я любил эти улочки, узкие, кривые, гористые,

грязные, с их откровенным бытом, с полуголой детворой. Любил, когда через эти же места мать водила меня в армянскую церковь Петхаин; надо было подниматься на гору по высокой лестнице. Помню, мать обижалась на священника за то, что он служил небрежно, ремесленно, во время своих же молитв глазел по сторонам и громко ругал служку за неисправности.

А там ещё какой-то овраг с отбросами, а за оврагом что-то вроде персидского кладбища. Я гляжу туда и припоминаю рассказы о том, что на этом кладбище хоронят не в гробах, а просто сажают закутанных в саван покойников в хорошо прилаженную камеру, даже с отверстием для доступа воздуха — на случай, если похоронили заживо. А таких случаев было очень много. То-и-дело рассказывали, как из могил раздавались стоны. На кладбище под вечер жалобно поёт персианин, поёт красиво и необыкновенно трогательно. Через десятки лет я услышу нечто подобное у Надира в «Искателях жемчуга». Да что Надири! Именно таким волнующим пением, восточными полунотками, пленительнейшим филировками, удивительным *riapizito* прославился знаменитый опереточный певец Давыдов. В пору моего детства бывал у нас в доме певчий Саша Карапетов, будущий Давыдов по сцене. Не помню, кто его увлёк на сцену; какие бы партии он ни пел, в любую из них он вносил этот захватывающий тоской восточный колорит.

А тут же, недалеко внизу, берег Курры быстротечной, с нагромождёнными в русле большими и мелкими камнями. А по ту сторону — скалы левого берега, и по этим скалам лепятся, (не могу найти другого слова, — именно лепятся) домики, хибарки с балкончиками, повисшие над рекой.

К улице, на которой была наша квартира, с Головинского проспекта спускался переулок, наверху была то ли кузница, то ли экипажная мастерская; во время дождей стоки приносили много гвоздей, железных обломков, застревавших между булыжниками мосто-

вой; мы, мальчишки, собирали железо и обменивали его на черешни, вишни, виноград. Кинто, продавцы фруктов, носившие их на головах в больших чанах, охотно совершали с нами сделку, кладя на одну чашку весов наши находки, а на другую фрукты.

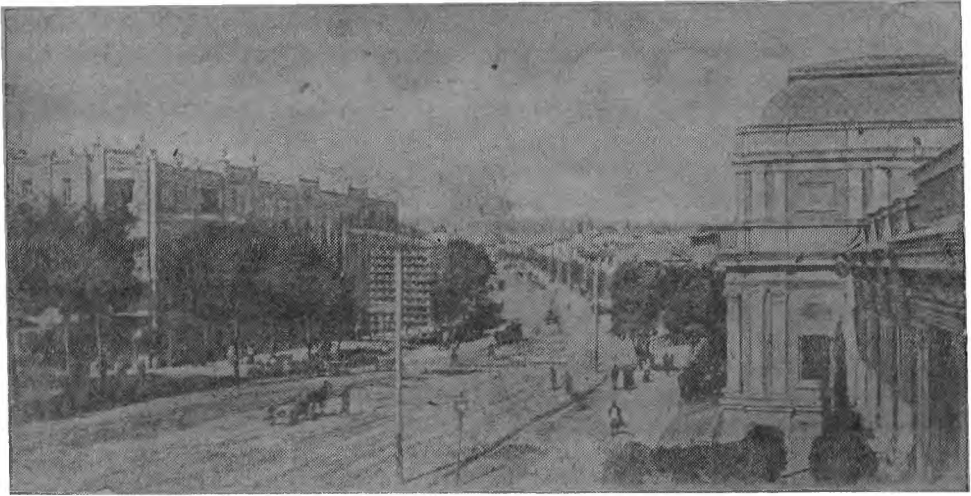
Запомнились мне возгласы бродячих продавцов: «Молоко-о кислый, молоко!» Или: «Мацони! Мацони!» Ранним утром появлялся булочник с большой корзиной. Издалека он начинает: «Горе-е-е...» долго тянется эта нота «е-е-е» и, только уже приближаясь, кончается: «чи — булк...» Это означало — горячие булки!

Наверху по нашей улице были казармы, — кажется, и улица называлась Сапёрная. Там был большой плац для учения, на нём гимнастическая кобыла, трапезия. Одно время я часто ходил туда. Фельдфебель Шаповаленко учил меня гимнастике и похабным песням. Трудно понять, почему он находил удовольствие в развращении фантазии 10—11-летнего мальчика. Нравы были дикие. Когда солдатам удавалось поймать скорпиона и фалангу, они брали медный таз, обкладывали его внутри горящими угольями и сажали туда этих насекомых-гадов. Несчастные, не находя выхода, накидывались друг на друга и побивали насмерть.

А то ещё — это уже не солдаты, а лавочники, — поймав крысу, обливали её керосином, поджигали и пускали к помойной яме с криком и ржаньем.

У нашей кухарки был любовник. В пьяном виде он бил её, она кричала на весь двор. Помню, однажды она прибежала к нам спастись от побоев, и с её головы упал густой кровавый клочок выдранных волос. А когда однажды кошка съела что-то в кухне, эта же кухарка взяла её за хвост и со всего маху била о большой камень, лежавший у входа.

В известную пору не проходило дня, чтобы из окон или со всех дворов не выходили поглазеть, как с диким хохотом били собак, которые в брачном экстазе не могли оторваться друг от друга.



Головинский проспект (ныне проспект Руставели)

О диком несоответствии с насаждавшейся культурой напоминали даже необъезженные лошади. Несчётное число раз я видел, как по широкому Головинскому или вниз по Баяртинской, чего-то испугавшись, несели лошади и как кучер, свалившись с фаэтона или арбы, путался в вожжах и бился о колёса, пока какой-нибудь храбрец не бросался наперерез, широко размахивая руками и шапкой. Тогда лошади сразу останавливались.

Весёлое настроение уличных бездельников выражалось ещё и в таких формах. У нас поливали улицы из пожарной кишки. Я в своём гимназическом мундирчике, заложив руки назад и расставив ноги, наблюдал, увлечшись этим зрелищем, а поливальщик, на потеху окружающих, окатил меня водой с ног до головы. Когда я, разревевшись, побежал, сильная струя преследовала меня. А хохот кругом ещё пуще.

Вот так и врезалось у меня в память: улица, то жаркая и пыльная, то в лёгкой дымке зимних дождей, грубая, вонючая и дикая, но во всех детских воспоминаниях родная и любимая; улица, притягивающая пленительным колоритом юго-востока, его песней, его юмором, его ленью; улица, как-будто неспособная ни к какой цивилизации. А рядом, за стенами круглого здания—

итальянская опера, сладкогласные певцы, нарядные образы, иллюзорная красота — точно другой мир, кусок какой-то иной планеты. И едва ли не большая часть всего моего существа принадлежит тому, одновременно и фантастическому, и реальному, что представляется там, за круглыми стенами. Резкое несоответствие между житейским и театральным проходит, кажется, мимо моего сознания.

Год, когда я не ходил в театр, этот надлеровский сезон был в моем отрочестве, пожалуй, самым позорным годом. Почему-то я стал уличным мальчишкой с хулиганскими наклонностями. В небольшой компании сверстников играл в орлянку и в «кочи» — бараньи ножные чашечки, четырёхгранные. От сноровки зависело, на какую грань станет чашечка, когда её бросишь. Кидал в прохожих из чердачного окна арбузными корками. И высшим удовольствием было сбить с франта цилиндр или попасть в перелетающую ласточку. Выкрикивал вслед девушкам грубости, на дверях квартиры, где жила гимназистка, писал неприличные фразы. Дело дошло до жалоб на нас гимназическому начальству. Театр свой на подоконнике забросил, и в этот год плохо учился. С пятёркой перешёл на сплошные тройки.

Но потом как-то сразу всё перемени-

лось. И квартиру мы переменили, и уличные приятели отстали от меня. В течение лета, в знойную жару, ко мне ежедневно приходил товарищ по классу — заниматься вместе, чтобы нагнать пропущенное. Приходил он издалека, с Авлабара, — милый Перешивалов! А вскоре я получил и урок за 15 рублей в месяц. Было ли мне четырнадцать лет? А тут сестра вышла из института, брат Иван бросил юнкерское училище. Дома я был уже не одинок. А с зимы начался и театр Яблочкина, полоса моих театральных воспоминаний, до того различных от первого периода, как будто прошло много лет и как будто я так быстро возмужал.

★

В области воспоминаний бывают такие минуты, да нет: не минуты, а секунды. В моей жизни это бывало так.

Придешь после большой репетиционной работы домой, приляжешь отдохнуть, может быть, даже вздремнешь, как вдруг подползает какой-то кусочек из давно-давно прошедшего, подползёт, засветится и охватит ощущением такой подлинной реальности (сказал бы даже — жестокой реальности), точно мне в это время как раз 12—17 или 23—24 года, то есть возраст, из которого выхвачен этот кусок. Не в сновидении, в том-то и дело, что ни в какой степени не в сновидении, а в самом реальном физическом ощущении. То ли это стена с афишей, узкий тротуар, ветер, холодный осенний песок, бьющий в лицо... то ли комната с широкой лунной полосой, протянувшейся из окна... или московский переулочек с церковным перезвоном, сумерки, запах сумеречной гари... а то просто тригонометрическая задача — вот она, учебническая тетрадь с ясными-ясными строками. И до жути реальное ощущение юности. Всего несколько секунд, может быть, 10—15. И не успеет это рассеяться, как пронизывает шемящая тоска. Сознание старается удержать воспоминания черту за чертой, и это удаётся: оно задерживается. Но это уже не подлинное дыхание, а сухое отражение, точно без аромата...

И тоска...

Не часто это бывало со мной: как какой-то дар природы, какое-то особое прозрение в прошлое существование. Может быть, три-четыре раза в году.

Вот такое состояние я испытывал, вспоминая те театральные впечатления, о которых рассказываю.

Итак, второй период моих театральных воспоминаний.

Яблочкин собрал небольшую талантливую драматическую труппу и пригласил несколько специально опереточных актрис. Молодым премьером труппы остался тот же Журин, актрисами — те же Михайлова, теперь уже под своей фамилией Яблочкина 1-я, и Светланава — Яблочкина 2-я.

Из мужчин самым большим успехом пользовались тот же Леонид Соколов и появившийся впервые в Тбилиси Правдин. Эти двое оспаривали первенство. У нас среди молодёжи образовались две партии поклонников. Самым ярким поклонником Соколова был мой товарищ Васо Туманов, который впоследствии в любительских спектаклях с наивной искренностью пел куплеты, рабски копируя Соколова.

Правдин проявлял самое разностороннее дарование. Он был характерным комиком, но имел большой успех и в таком сильно драматическом отрывке, как «Записки сумасшедшего» Гоголя. Даже наш преподаватель словесности Степан Иванович Рыжов, о котором я когда-нибудь постараюсь рассказать подробно, рекомендовал нам посмотреть «Записки сумасшедшего». Отрывок игрался, кажется, в инсценировке Слепцова. Автор как-раз в это время приехал в Тифлис. Я его встретил у Правдина. Это был первый «настоящий» писатель, какого я видел в жизни до встречи с братом Василием.

Тот же Правдин был первым комиком в оперетке: Валентин в «Маленьком Фаусте», и барон в «Парижской жизни», и Мидас в «Прекрасной Галатее». Голос у него был довольно большой и довольно неприятный, но комику это не мешало. Он был очень музыкален.

Соколов оставался на ролях комических, но обладал большим, чем Прав-

дин, блеском таланта. В жизни Соколов был замкнутее, Правдин, наоборот, старался бывать в так называемом «обществе», скоро начал бывать и у нас. Впоследствии он ставил любительские спектакли и увлёк моего брата Ивана на сцену. Брат Иван был красивый молодой человек с хорошими сценическими данными. Он только что пережил сильную драму: полюбил девушку из общества, пользовался взаимностью, но родитель её был настолько взбешён, узнав об этом, что прибил 19-летнюю дочь. Она с отчаяния повесилась. У меня сохранился рисунок её могильного памятника, сделанный моим братом.

Любопытно: он в жизни заикался, а на сцене нет. Я таких актёров знал.

Вероятно, брат вырос бы в крупного актёра, но на четвёртом году своей карьеры умер от чахотки.

Едва ли не самое большое место в репертуаре Яблочкина занимала оперетка. Он был первым её насадителем в Петербурге, в Александринском театре. Не могло быть сомнений, что и Тифлис увлечётся этим родом искусства. Карта верная. И Яблочкин не ошибся. «Прекрасная Елена» Оффенбаха, «Галатей» Зуппе, «Чайный цветок» Лекока, «Парижская жизнь» Оффенбаха, «Маленький Фауст» Эрве, да и другие, имели большой успех. Особенно привлекала «Парижская жизнь» благодаря канкану. Тифлисская буржуазная публика была не без фарисейства благонравная. Чуть открытая ножка уже возбуждала фривольные мысли. Если бы женщина села, закинув одну ногу на другую, это вызвало бы скрытый трепет у мужчин и ужас у дам. Уже в «Прекрасной Елене» разрез костюма с одной стороны был явлением рискованным, а тут вдруг — танец неприличных движений и высоко открытые ноги!

Первое место занимала опереточная звезда Колосова, с небольшим голосом, но актриса с обаянием.

Вспоминаю из дикости нравов (уже не улицы, как я рассказывал раньше, а буржуазии) такой эпизод. За этой Колосовой сильно ухаживал богатый молодой человек М. Фамилию не назы-

ваю потому, что, может быть, она ещё существует в Тбилиси. Ухаживал без успеха и злился. Между тем Колосова сблизилась с кем-то из актёров и забеременела. И вот, будучи, может быть, на пятом месяце, пришлось ей играть в «Парижской жизни» и танцевать канкан. Этот танец всегда бисировался, но она, несчастная, едва доплясала до финала акта. Однако М., окружённый приятелями из «золотой молодёжи» города, стучал палкой, кричал, требовал во что бы то ни стало повторения. Я, сидевший в шестом-седьмом ряду, отлично слышал, как он говорил: «Нет, пусть танцует, подлая!»

Я в это время зарабатывал довольно много уроками. Вспыхнул негодованием против этого господина и к следующему спектаклю, как сейчас помню, всё, что у меня было — 28 рублей, — истратил на букет, который и поднёс Колосовой. Знаком я с нею не был никогда.

Летом к Яблочкину приезжали гастролёры из Петербурга. У меня остались в памяти трагик Степанов («Жертва за жертву» Дьяченко) и сильный характерный актёр Виноградов. Он играл Любима Торцова в «Бедность не порок» Островского и его же в «Не всё коту масленица». Интерес к этой постановке усиливался тем, что именно Виноградов и Жёна Яблочкина создавали свои роли в Петербурге на первом представлении. Приезжал очень полюбившийся Тифлису Музиль. Помню его в больших водевилях «Парики» и «Ворона в павлиньих перьях»...

Случилось так, что сыну Яблочкина понадобился репетитор. Яблочкин обратился в гимназию, и директор Марков указал на меня, как на лучшего ученика гимназии.

Таким образом, я вошёл в дом Яблочкина в качестве репетитора его сына. Я вошёл в дом, живущий актёрскими волнениями, закулисными интересами, в самое горнило театральной мастерской, в атмосферу, так мало похожую на обычную атмосферу буржуазной квартиры, где самые простые бытовые мелочи — где купить, что поесть — и самые простые заботы — пойти, поехать, принять, послать — переплетаются с самы-

ми фантастическими: грим, костюм, декорация, реквизит, роль, герой, героиня, перевоплощение, аплодисменты, нервы, волнения, успех, зависть, ревность, талант, поклонники...

В природе актёра, а в особенности актрисы, есть черта, владеющая всей его психикой: желание нравиться. Не только на сцене, но и в жизни. Это ласкает. И я чувствовал в этом доме какую-то нежность к себе со стороны и отца, и матери моего ученика. А это ещё больше увеличивало во мне тягу к театру.

Антреприза Яблочкина продлилась год с небольшим. В октябре 1874 года театр Караван-Сарая сгорел.

Пожар, конечно, был промадным событием для города. Резко врезалось в мою память утро, когда я пошёл на пожарище. Сгоревший театральный зал обратился в яму под открытым небом. Эта яма показалась мне такой маленькой в сравнении с бывшей театральной залой! Острый запах горелого; кругом черно и мокро; коряво торчат груды железных листов провалившейся крыши; обгорелые чёрные столбы; в нескольких местах тянется дымок. И фигуры людей, переступающих по рытвинам и обгорелым брёвнам.

Так и сгорели мои первые театральные впечатления...

Форс-мажор. Как это перевести? У Яблочкина был очень хорошо составленный контракт с городом; в случае форс-мажора Яблочкин получал сумму за все годы, оставшиеся по контракту на шесть лет. Может быть, я ошибаюсь, но запомнилась цифра в 30 тысяч. Ведь ему для этой антрепризы пришлось совершенно разорвать с императорским театром в Петербурге: ни жена его, ни дочь, ни он сам не могли уже возвратиться.

Наскоро был приспособлен к зиме летний театр в Инженерном саду. Труппа Яблочкина сократилась до минимума. Несколько спектаклей в этом полужимнем театре у меня остались в памяти: модная в то время пьеса Антропова «Блуждающие огни», «Паутина» Манна, «Испорченная жизнь» Чернышова. Между прочим, в этом спектакле состоялся дебют известной вам народной артистки

А. А. Яблочкиной — младшей дочери Яблочкина. Ей было в то время... 6 лет. Так как я был причастен к семье Яблочкина, то вся подготовка к дебюту и сам дебют происходили на моих глазах. Сама Яблочкина играла мальчика. Выйдя на сцену, она от волнения остановилась и некоторое время молчала. Суфлёр изво всех сил начал ей подсказывать. Вдруг она повернула лицо к суфлёру и сказала: «Пожалуйста, не трещите, я сама знаю». И после этого великолепно провела всю роль.

Связь Яблочкина с городом прекратилась. Тут я, видимо, путаю сезоны.

Помню антрепризу Пальма. Их было двое: Сергей Пальм и брат его под фамилией Арбенина. Жёны обоих братьев были певицы, благодаря этому и репертуар был пёстрый — драма и оперетка. Иногда в спектаклях принимал участие и отец их — писатель А. И. Пальм — автор имевшей тогда большой успех пьесы «Старый барин». Он же играл и главную роль. Несколько позднее он написал ещё одну пьесу, тоже имевшую в Москве и Петербурге успех: «Наш друг Неклюжев». В сезон Пальма началась война с Турцией 1875 года. Тифлис обратился в шумное местоперемещение войск и стоянки офицеров. Театр был полон каждый вечер. Особенным успехом пользовалась мелодрама «Убийство Коверлей». Главную роль играл премьер труппы Шумилин.

Я и несколько моих товарищей встречались с Пальмом и с Шумилиным часто. Тогда гимназисты и реалисты старших классов являли собой, так сказать, цвет молодёжи. Университета не было. Актёры, как это бывает часто в провинции, охотно общались с пылкими юнцами.

В связи с мелодрамой «Убийство Коверлей» запомнился такой комический случай. Сбор полный, а Шумилин вдруг заболел. Тогда С. А. Пальм — чистейший талантливый комик, — ничтоже сумняшеся, решил выручить спектакль и сам сыграть героическую роль. И всё шло ладно, но он очень грассировал, а ему попала такая фраза: «Теперь во Францию вернулся не Артур Гордон,

а сэр Рожер Коверлей». Десять «ер» в одной фразе. Вообразите, как она зазвучала! У нас эта фраза надолго потом осталась классической.

Ещё бóльшим успехом пользовалась гремевшая в это время в Париже и Петербурге комическая опера Леккока «Дочь рынка» («Дочь м-м Анго»). Главную партию Анж Питу исполнял местный молодой человек Женечка Корганов, красивый мальчик с приятным тенором, один из кавказских уроженцев, рвущихся к театральной деятельности, как мой брат Иван, как моя сестра, ставшая потом известной артисткой Немирович, как знаменитый «опереточный Мазини» Саша Карапетов, о котором я уже рассказывал. А сестра Женечки Корганова Елена скоро стала европейской оперной звездой Тэрьян, а впоследствии одной из лучших преподавательниц пения в Москве. Мы знали её ещё гимназисткой, на ней женился мой товарищ Тэр-Мкртычян, отсюда и произошла сокращённая фамилия Тэрьян.

Я сказал, что тут несколько путаю сезоны. Вспоминаю очень приятную актрису Лукашевич. Очень она нравилась в водевиле «Все мы жаждем любви», где в куплетах с танцем лирический кусок был заимствован не много, не мало из похоронного марша Шопена. Я не шучу. На восьмом такте похоронный марш переходил в весёлый танец. Особенно увлекался Лукашевич наш товарищ Черников, который по слуху недурно играл на фортепьяно и копировал актрису. Он потом участвовал в любительских спектаклях. Но это не было его делом. Из него вышел хороший педагог и, кажется, директор одной из кавказских гимназий.

К осени 1875 года театральная жизнь в Тифлисе совершенно замирает. В последний год моего пребывания в гимназии профессиональной труппы уже не было, не было её, сколько я знаю, и в последующие три сезона. Началась полоса любительских спектаклей.

К одному из таких спектаклей примкнул и я в качестве помощника режиссёра, который в старину назывался «сценариеусом».

Играли комедию «Ангел доброты и невинности». Любители вообще стара-

лись подражать любимым актёрам. Да и публика от них только этого и ждала. Были две даровитых любительницы. Через год, уже студентом, я буду играть и с той, и с другой. Пока, в качестве «сценариеуса», я только следил за их выходами. Одна из них обладала недурным голосом. Нашёлся и красивый тенор, из певчих. Поставили первый акт «Птичек певчих» Оффенбаха. К сожалению, Пикильо был с большой бородой и уже немолод, а Перикола хотя и милая актриса, и с приятным голосом, но без всякого слуха, и песенку пьяненькой пропела с завидной уверенностью от начала до конца на полтона ниже. Дирижировавший уже знакомый вам Труффи сумел перевести оркестр с мибемоль-мажор на ре-мажор, но тут она ухитрилась поднять тон. В таких пассажах я к этому времени уже крепко разбирался. Но тифлисская публика так любила театр, что прощала любителям многое и радушно принимала всех, кто так или иначе был причастен к искусству.

Помню концерт, в котором пела моя сестра, помню некоего Николаева, автора популярного тогда романса «Ах няня, няня, что со мною», романса, уже знакомого Тифлису. И была заманчивая афиша с извещением, что его будет петь сам автор.

Снова появился Надлер, но не с труппой, а с каким-то литературно-куплетным вечером. Остался у меня в памяти цирк Сур на бывшей Гунибской площади, рядом с 1-й гимназией, где потом был храм, а теперь стоит Дом правительства. Цирк я посещал часто. Привлекал красавец Кассино (или Кессини) «человек-муха»; он ходил вниз головой под самой крышей. И ещё — наездница Августина, в черкессе и папахе.

Ох, уж не знаю, рассказывать ли о крупнейшем событии моей юности этого периода? Оно не очень тесно связано с театральными воспоминаниями, хотя героиней романа была актриса-любительница.

Я считался первым учеником гимназии, и единственный прошёл все 7 классов до 8-го без остановки. Мой това-

рищ, ставший потом единственным другом моей жизни, Саша Сумбатов, отстал от меня, кажется, в шестом классе. Моя сестра с мужем и матерью уехали из Тифлиса, брат уехал актёрствовать. И вот шквал первой любовной бури охватил меня, когда я остался одиноким. А мне ещё не минуло 17. Раненько было переживать все перипетии чувств, так великолепно и множество раз сказанные нашими писателями, в особенности Тургеневым, но мы все в восьмом классе чувствовали себя уже вступившими на широкий жизненный путь. У меня это выразилось в форме нелепой и слишком рискованной. Я начал пренебрегать гимназией, занятиями. Начал как бы задыхаться там. То приходил только к третьему уроку, то уходил во время большой перемены, то совсем прекращал ходить два-три дня. А у себя дома что-то читал или писал. У меня были две крошечных комнаты и кухня; жила со мною пожилая женщина, мои товарищи называли её Ариной Родионовной, как няню Пушкина. Помню, учитель словесности как-то сказал вскользь: вот хорошая тема для сочинения — «Гений и талант». Я подхватил эту мысль и много работал над сочинением, перебивая занятия или любовными свиданиями, или беседами с моей Ариной Родионовной. Приходя в гимназию, я получал резкие выговоры от инспектора, но это на меня не действовало: а там уже все знали о моём романе. Дошло до того, что на педагогическом совете был поднят вопрос об исключении меня из гимназии. По счастью, директор, благодарной памяти Марков, любил меня. И жена его приняла в этом деле участие. Поговорить со мною взялся милый учитель французского, — даже не моего класса, — Деларю. На всю жизнь запомнился дождливый январский вечер, когда я вышел из его квартиры после длинной, мягкой, дружелюбной беседы, вышел и долго стоял на пороге: мне надо было идти к «ней» на условленное свидание... и я не пошёл. И круто оборвал свой роман. Героиня моя драматизировала, но я ей не верил. (И был прав.)

Я вернулся пайнёжкой в гимназию, но

мой соперник, даровитый Нежинский, уже прочно занял первое место и по праву выхватил у меня золотую медаль. Пришлось довольствоваться первой серебряной.

С отъездом в Московский университет связь моя с тифлиским театром не прерывалась. Она возобновилась через год, когда я приехал студентом второго курса.

★

Драматической труппы не было, образовался опять кружок любителей. К этому кружку примкнул и Саша Сумбатов, как-раз в этом году окончивший курс гимназии. Он очень рано начал тянуться к сцене. Когда он был ещё в 6 классе гимназии, я помню у него в доме домашний спектакль, где он играл главную роль в водевиле Салугуба «Мастерская русского живописца».

Ещё гимназистом он сочинил водевиль «Близок локоть, да не укусишь».

Тут состоялся мой первый выход в качестве актёра в пьесе «Гражданский брак». Я играл драматического любовника, Саша Сумбатов — отца девушки. Хотя перед этим целый год я рьяно посещал московский Малый театр и петербургский Александринский, тем не менее сценического опыта у меня не было никакого. Помню, когда парикмахер, старый театральный опытный местный парикмахер, гримировал меня, то я почему-то настоятельно требовал, чтобы он сделал мне усы толстые. Парикмахер резонно уверял меня, что не годятся толстые усы молодому человеку 22—23 лет, но я настоял и, кажется, был в этих усах довольно уродлив. Помню ещё: когда после первого, второго, третьего актов за кулисы приходили товарищи или знакомые, то все они скользили мимо меня, стараясь не смотреть в мою сторону. Ясно было, что я играл плохо и, вероятно, очень страдал. Может быть, именно поэтому в последнем действии, где у меня была драматическая сцена и сильный покаянный монолог, я так увлёкся и разразился слезами с такой искренностью, что вызвал взрыв аплодисментов. И такой длительный, что, стоя на коленях и уткнувши голову в колени брошенной

мною девушки, я долго колебался, оставаться ли мне в этом положении, или всё-таки поклониться публике и снова опуститься на колени. Вкус подсказал не менять позы.

А когда кончился акт, Леонид Соколов пришёл ко мне за кулисы, начал целовать, теребить меня и говорить: «Бросьте, голубчик, все науки, университеты и идите на сцену». Дня через два он отыскал меня и стал снова уголаживать итти на сцену. Приглашал поступить к нему в небольшую труппу, которую в это время составил. Я отказался. При всём моём тяготении к театру, я никак не мог принести университет ему в жертву.

Нас, выпускников гимназии, совсем почти не коснулась волна политических движений. Помню только, что один из воспитанников реального училища, с которым я был довольно близок, принёс мне однажды толстую книгу и сказал, что я непременно должен с ней познакомиться. Это был «Капитал» Маркса, первое издание на русском языке.

Ещё помню гимназистку, худенькую, с чёрными волосами и сверкающими глазами, с которой приходилось довольно много говорить, — это до моей поездки в Москву, — о жизненной дороге после гимназии. Она горячо уверяла, что надо итти непременно или на медицинский, или на физико-математический факультеты. Только оттуда выходят люди, достойные общественной деятельности. А юридический и филологический — эти факультеты выпускают болтунов и книжников.

С этой девушкой мы встретились через год в Москве в одной конспиративной квартире на Сретенке, в доме Цыплакова. Потом она исчезла с моего горизонта, была сослана. Фамилию её я помню. У меня сохранилась её фотография.

В гимназии учитель словесности Рыжов, о котором я уже говорил, ни в малейшей степени не интересовался нашим, так сказать, идеологическим развитием. Когда до него дошло, что мы издаём журнал под названием «Товарищ», где я был редактором-издателем, — редактором потому,

что собирал рукописи своих товарищей, и издателем потому, что журнал переписывал великолепным почерком мой брат Иван, — Рыжов с лицемерной расположенностью попросил дать ему прочесть 5—6 номеров. Я дал, а он, прочитав, так высмеял нас, авторов, что отбил всякую охоту продолжать журнал.

Хорошим литературным направлением всей моей юности я обязан скорей учителю словесности параллельного класса, где учился Сумбатов. Это был Горяинов. Его классы и домашние беседы, которые посещал и я, были полны преклонения перед идеалами русской литературы.

Большинство из нас было охвачено настроением либеральным. И мы резко отделяли товарищей левого уклона от карьеристов и оппортунистов.

Вторым моим спектаклем была пьеса Самарина «Перемелется, мука, будет», сентиментальная драма с хорошими ролями. И здесь Саша Сумбатов играл старика, а я от неблагоприятной роли «драматического любовника» отказался и играл небольшую характерную — пьяньенного художника.

После спектакля Сумбатов уехал в Петербург, а кружок наш усилился двумя-тремя профессионалами, оставшимися летом без работы. И я занял первое положение. Сыграли пьесу популярного тогда драматурга Дьяченко «Современная барышня» и «Испорченную жизнь», — ту самую, на репетиции которой я присутствовал, когда Яблочкин учил Журина. Вероятно, я и старался играть так, как показывал Яблочкин.

Успех этого спектакля был так велик, что его повторили с отличным сбором.

Что-то во мне, в смысле актёрской заразительности, очевидно, было. Помню такой случай. Я поселился во флигельке того дома, где жила сестра с матерью. Поздним вечером, запершись, я во весь голос «готовил» роль. Вдруг прибегает мать. «Что ты наговорил сестре? — кричит на меня! — Она пошла к тебе, а сейчас рыдает, ничем не остановишь!» — «Я её не видел, она не была тут». Оказывается, сестра хотела меня видеть, но у двери услышала мой

голос, прислушалась, а я как-раз «разучивал» сильный драматический монолог. Сестра была так потрясена, что разрыдалась и убежала.

Так в Тифлисе были посеяны во мне первые семена «театральности».

Игравшие со мной актёры тоже стали уговаривать меня идти на сцену. Мне было всего восемнадцать лет. Соблазн был большой, но я и на этот раз удержался.

Соблазн повторился через год. Всю зиму я участвовал в любительских спектаклях в Москве. Скоро приобрёл репутацию даровитого любителя. Уже пошёл и по пути журналиста. Много играл в Артистическом кружке. Премьер второй труппы Путьята окончательно уговаривал меня, и я уже заключил контракт с антрепренёршей из Ростова Казанцевой. Хотя я и перешёл благополучно на 3-й курс, но физико-математический факультет совсем не увлекал меня. Однако к осени я опять отказался от актёрской карьеры, извинился перед Казанцевой, и она меня поняла.

И, наконец, в этот последний мой приезд в Тбилиси я ещё раз сыграл с Сашей Сумбатовым. Он приехал уже студентом Петербургского университета. Мы играли «Доходное место», я — Жадова, а он — Юсова. Я щеголял тем, что уже выступал в этой блестящей роли в Москве с профессионалами. Из Сумбатова как будто выработывался актёр на роли резонёров. Но окончательно он нашёл себя в петербургских частных спектаклях: благодаря прекрасной дикции, великолепному голосу, большому, чисто грузинскому темпераменту и легкости романтического подъёма, он быстро выработался в актёра на роли любовников и героев.

В дальнейшем мы с ним встретились уже на путях драматургии и широких театральных планов, тревог, борьбы, — всего того кипучего, чем насыщены были наши жизни.

*

Со времени моего последнего приезда в Тифлис прошло шестьдесят три года.

Через шестьдесят три года от театра, где я начинал, я не нашёл и следов. Никто не знал, где был такой Инженерный сад и театр. Наконец, я сам решил обследовать это место. Спустился по узкой улочке (кажется, она называется Водовозной) с маленьким тротуаром в одну каменную плиту. Пришёл к месту бывшего Инженерного сада и театра. Вот здесь, наверное, был сад, а вот тут был театр. Наконец встретил какую-то старушку, которая подтвердила, что, действительно, театр был тут. И сад был. А вот там, внизу, где сейчас какое-то садоводство, был, по-моему, бассейн, и я в нём купался. Теперь в Тбилиси вместо полулетнего театра и любительских кружков имеются Оперный театр, театр им. Руставели, театр Марджанишвили, театр имени Грибоедова, армянский театр, ещё такой-то и ещё, и ещё, и университеты, целый новый университетский город. На том месте, где теперь построены университеты, были раньше загородные увеселительные сады. Один назывался «Кинь грусть», другой «Залатая время».

При мне была одна мужская гимназия, одно реальное училище и частная гимназия Амирагова, в которую меня звали преподавателем, когда я был ещё гимназистом. А теперь университеты, десятилетки...

И преподают в них на своём, родном языке. Громко, полноправно. После того, как десятки лет он загонялся в щель, был обречён на вымирание.

И самый город Тбилиси... Мне кажется, что я в этом прекрасном, своеобразном городе никогда в жизни и не был, а только читал о нём, слышал, видел его не раз во сне: эта чудесная набережная, успокоенная Кура, великолепные здания в соединении со старыми улочками, с задумчивыми кипарисами, с Метехским замком, который, как часовой, охраняет от забвения историю Грузии.

И все эти изменения произошли благодаря ленинско-сталинской национальной политике.



Алексей Николаевич Толстой

Дорогой Алексей Николаевич, в день Вашего шестидесятилетия редколлегия и редакция журнала «Новый мир» шлют Вам сердечные поздравления и горячее пожелание дальнейших творческих достижений. Мы рады приветствовать в Вашем лице крупнейшего русского писателя нашего времени и непримиримого борца против фашистского варварства. С особым теплым чувством мы приветствуем также в Вашем лице члена редколлегии, ближайшего сотрудника и друга нашего журнала, страницы которого на протяжении многих лет Вы украшаете своими замечательными произведениями. Пусть и впредь крепнет и развивается наше взаимное сотрудничество. От всего сердца желаем Вам долгой и плодотворной жизни во славу советской литературы.

РЕДКОЛЛЕГИЯ И РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР».

МОЙ ПУТЬ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★

Я вырос на степном хуторе верстах в девяти от Самары. Мать моя, Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, внучка Николая Ивановича Тургенева, ушла от моего отца, беременная мною. Её второй муж, мой вотчим, Алексей Аполлонович Бостром, был в то время членом земской управы в г. Николаевске — ныне Пугачёвск.

Самарское общество 80-х годов, — до того времени, когда в Самаре появились сосланные марксисты, — представляло одну из самых угнетающих картин человеческого свинства. Богатые купцы-мукомолы, купцы-скупщики дворянских имений, изнывающие от безделья и скуки, разоряющиеся дворяне-«степняки» и — общий фон — мещане, так ярко и с такой ненавистью изображённые Горьким.

Люди сливались и свинели в этом страшном, пыльном, некрасивом городе, окружённом мещанскими слободами.

Моя мать была образованным для того времени человеком и писательницей (ею написаны роман «Неугомонное сердце», две повести «Захолустье» и ряд детских книг, из которых наиболее популярной была «Подружка»). И вот, когда в Самаре появился мелкопоместный помещик Алексей Аполлонович Бостром, молодой красавец, либерал, читатель книг, человек с «запросами», — перед моей матерью встал вопрос жизни и смерти: разлагаться в свином болоте или уйти к высокой, чистой жизни. И она ушла, унося меня в себе, к новому мужу, к новой жизни...

Алексей Аполлонович не мог ужиться со степными помещиками в Николаевске, не был переизбран в управу и переехал на свой хутор в Сосновку. Там прошло моё детство.

Сад. Пруды, окружённые вёлами и заросшие камышом. Степная речонка Чагра, Товарищи — деревенские ребята, Ковыльные степи, где лишь курганы нарушали однообразную линию горизонта... Смены времён года, как огромные и всегда новые события. Всё это, и в особенности то, что я рос один, развивало мою мечтательность.

Когда наступала зима и сад и дом заваливало снегами, по ночам раздавался волчий вой, и выли от ужаса собаки. Когда ветер начинал свои песни в печных трубах, — в столовой, бедно обставленной оштукатуренной комнате,

зажигалась висячая лампа над круглым столом, и вотчим обычно читал вслух во многих раз Некрасова, Льва Толстого, Тургенева или что-либо из свежей книжки «Вестника Европы».

Детских книг я почти не читал, — должно быть, у меня их и не было. Любимым писателем был Тургенев. Я начал его слушать в зимние вечера, лет семи. Потом — Лев Толстой, Некрасов, Пушкин.

Лет с десяти я начал много читать всё тех же классиков. А года через три, когда меня с трудом (так как на вступительных экзаменах я получил почти круглую двойку) поместили в Сызранское реальное училище, я добрался в городской библиотеке до Жюль-Верна, Фенимора Купера, Майн-Рида и глотал их с упоением.

До поступления в реальное училище я учился дома.

В одну из зим — мне было тогда лет десять — матушка посоветовала мне написать рассказ. Она очень хотела, чтобы я стал писателем. Много вечеров я корпел над приключениями мальчика Стёпки. Из этого моего рассказа я ничего не помню, кроме того, что при описании лунной ночи отожился на импрессионистический приём, указав, что снег блестел, как бриллиантовый... Должно быть, рассказ про Стёпку вышел неудачным, — матушка меня больше не принуждала к творчеству.

До тринадцати лет я жил созерцательно-мечтательной жизнью. Наиболее глубокое впечатление, живущее во мне по сей день, оставили три голодных года — с 1891 по 1893 год. Земля тогда лежала растрескавшаяся, зелень преждевременно увядала и облетала. Поля стояли жёлтыми, сожжёнными. Горизонт окружал тусклый вал мглы, сжигавший всё. В деревьях крышки изб были оголены, — солону с них скормили скотине.

Имение вотчима в эти годы едва уцелело, но через несколько лет ему всё же пришлось его продать...

Покинув в 1897 году Сосновку, мы переехали в Самару в собственный дом на Саратовской улице, купленный вотчимом на остатки от уплаты долгов по закладным и вексям. Окончив в Самаре в 1901 году реальное учи-

лище, я поехал в Петербург, где, сдав конкурсный экзамен, поступил на механическое отделение Технологического института.

Первые литературные опыты я отношу к 16-летнему возрасту. Это были стихи-перепевы из Некрасова и Надсона. Не могу вспомнить, что меня побуждало к их писанию, — должно быть беспредметная мечтательность, не находившая форм. Стишки были серые, и я скоро бросил корпеть над ними... Но всё же меня снова и снова тянуло к какому-то неоформленному ещё процессу созидания. Я любил тетради, чернила, перо... Будучи студентом, я неоднократно возвращался к опытам писания, но это было начало чего-то, не могущего ни оформиться, ни завершиться.

Жил я обычной студенческой жизнью. Участвовал в студенческих волнениях и забастовках, состоял в социал-демократической фракции. Во время демонстрации у Казанского собора в 1903 году едва не был убит брошенным булыжником, — спасла меня книга, засунутая на груди за шинель. Когда в 1905 году были закрыты высшие учебные заведения, я уехал в Дрезден, где пробыл один год в политехникуме. Там снова начал писать стихи — революционные (какие писали тогда Тан-Богораз и даже молодой Бальмонт) и лирические. Вернувшись в Самару, я показал их матери, она с грустью сказала, что всё это очень серо. Тетради этой не сохранилось.

Каждой эпохе соответствует своя форма, в которую укладываются думы, ощущения и страсти. Этой новой формы у меня не было, создать её я ещё не умел, да и не мог.

Летом 1906 года, после смерти моей матери, я уехал в Петербург, чтобы продолжать учение в Технологическом институте. Начиналась эпоха реакции, и с нею вместе на сцену к огням рампы вышли символисты. С их творчеством — Вячеслава Иванова, Бальмонта, Белого — меня познакомил служивший в одном из министерств чудак и фантазёр Константин Сергеевич Фан-дер-Флит. Читая мне у себя в мансарде стихи символистов, он говорил о них с неподражаемым жаром фантазии.

Тогда же — весной 1907 года — я написал первую книжку «декадентских» стихов. Это была подражательная, наивная и плохая книжка. Но ею для самого себя я проложил путь к осознанию современной формы поэзии. Уже через год была написана вторая книжка стихов — «За синими реками», от неё я не отказываюсь по сей день. «За синими реками» — это результат моего первого знакомства с русским фольклором, русским народным творчеством.

Тогда же я начал свои первые опыты прозой: «Сорочьи сказки». В этой книге я пытался в сказочной форме отразить свои детские впечатления, первоначальное восприятие природы. Более совершенно это удалось мне сделать много лет спустя в повести «Детство Никиты».

Близостью к поэту и переводчику Максимилиану Волошину я обязан началом новеллистической работы. Летом 1910 года я слушал, как он читал свои переводы из Анри-де-Ренье.

Месяц поразила чеканка образов. Мне не хватало формы и техники, и символисты с их исканием формы, и такие эстеты, как Ренье, были мне полезны для создания своего художественного стиля.

Осенью 1910 года я написал первую повесть «Неделя в Турене» — одну из тех, которые впоследствии вошли в книгу «Заволжье», а ещё позднее — в расширенный том «Под старыми липами» — книгу об эпигонах дворянского быта той части помещиков, которые перемальвались новыми земельными магнатами — Шехобаловыми.

Затем последовали два романа — «Хромой барин» и «Чудаки». На этом оканчивается мой первый период повествовательного искусства, связанный с той средой, которая окружала меня в юности. Я исчерпал эту тему. Вплотную подошёл к проблеме современности. Тут я потерпел крах: повести и рассказы о современности были неудачны, не типичны. Теперь я понимаю причину этого. Я продолжал жить в кругу символистов, реакционное искусство которых не могло отразить современности в предверии бурно и грозно надвигавшейся революции. Символисты уходили в абстракцию, в мистику, рассаживались по «башням из словной кости», где намеревались переждать то, что неминуемо надвигалось. Я любил жизнь, всем своим темпераментом я противился абстракции, идеалистическим мировоззрениям. И то, что мне было полезно в 1910 году, вредило и тормозило меня в 1913-м. Я понимал, что так быть дальше нельзя. Работал ещё упорнее, но результаты были плачевны: я не видел жизни страны и народа. И только, когда наступила война и я, как военный корреспондент газеты «Русские ведомости», побывал на фронтах, я увидел подлинную жизнь, я принял в ней участие, содрал с себя застёгнутый наглухо чёрный сюртук символистов. Я увидел русский народ.

В самом начале февральской революции я обратился к теме Петра Великого: должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности. Историк В. В. Калаш познакомил меня с архивами, с записями тайной канцелярии — «Слово и дело». Во всём блеске, во всей гениальной силе раскрылись передо мной сокровища русского языка. Я, наконец, понял тайну построения художественной фразы, определяемой жестом — внутренним и внешним — рассказчика.

К первым дням империалистической войны я отношу начало моей работы как драматурга. До этого, в 1913 году, я поставил в московском Малом театре комедию «Насильники». Это была старая тема о дворянском развале, с тем только добавлением, что в неё проникла струйка современности. С четырнадцатого по семнадцатый год я написал и поставил четыре комедии — «Выстрел», «Нечистая сила», «Касатка» и «Горький цвет».

После Октябрьской революции я снова возвращаюсь к прозе и осуществляю мой первый

набросок — «День Петра»; пишу повесть «Милосердие», являющуюся первым опытом критики российской либеральной интеллигенции в свете октябрьского зари.

Весной 1918 года я пишу комедию «Любовь — книга золотая» и повесть «Калиостро».

В июле 1919 года начинаю эпопею «Хождение по мукам». С особым жаром писал я первую часть романа — «Сёстры», а затем повесть «Детство Никиты», «Приключение Никиты Рощина». Впоследствии были написаны роман «Аэлита», повести «Чёрная пятница», «Убийство Антуана Рибо» и «Рукопись, найденная под кроватью», которая из всех этих вещей является наиболее значительной по теме. В 1923 году пишу две вещи — повесть «Ибикус» и небольшую повесть «Голубые города». С 1924 года я возвращаюсь к театру: пишу комедию «Изгнание блудного беса», пьесы «Заговор императрицы» и «Азеф», комедии «Чудеса в решете» и «Возвращённая молодость» и перерабатываю для советского театра «Бунт машин», «Анну Кристи» и по Газенклеверу — пьесу «Делец».

Через два года, в 1926 году, я написал роман «Гиперболаид инженера Гарина», в котором угадывается будущий фашизм, ещё через год начал вторую часть «Хождения по мукам» — роман «18-й год». В то же время я не прекращал переработку всего ранее мною написанного.

К теме Петра я вернулся в 1929 году, когда написал пьесу «На дыбе», в которой не совсем ещё освободился от идеалистических тенденций в обрисовке эпохи. Пьеса эта была мною переработана дважды — в 1934 и в 1937 гг. Оба варианта шли в Александринском театре. В 1930 году я написал первую часть романа «Пётр I». Через полтора года — роман-памфлет «Чёрное золото», который в 1938 году был переработан мной и опубликован под названием «Эмигранты». Вторую часть «Петра» я закончил в 1934 году.

Обе опубликованные части «Петра» — лишь вступление к третьему роману, наиболее значительному по содержанию и живописности, охватывающему события от взятия Нарвы до смерти Петра. Что привело меня к Петру? Наверно, что я избрал ту эпоху для проекции современности, — это было бы с моей стороны ложно историческим и антихудожественным приёмом. Меня увлекло ощущение полноты, «непричёсанной» и творческой силы той жизни, когда с особенной яркостью раскрывался русский характер.

Четыре эпохи влекут меня к изображению по тем же причинам: эпоха Ивана Грозного, Петра, гражданской войны 18—20 годов и, наконец, наша — сегодняшняя — небывалая по размерам и значительности. Но о ней — дело впереди. Чтобы понять в ней тайну русского народа, его величие, — нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы её, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер.

За этот же период мною написано несколь-

ко повестей, из которых наиболее значительны «Древний путь» и «Гадюка».

Повесть «Хлеб», которая является необходимым переходом между романом «18-й год» и романом «Хмурое утро» (третьей, заключительной, частью трилогии «Хождение по мукам»), я начал в 1935 году, закончил её осенью 1937 года.

Я слышал много упреков по поводу этой повести, в основном они сводились к тому, что она суха и слишком деловита. В оправдание могу сказать только одно: «Хлеб» был попыткой обработки точного исторического материала художественными средствами; отсюда несомненная связанность фантазии. Но, быть может, когда-нибудь кому-нибудь такая попытка пригодится. Я отстаиваю право писателя на опыт и на ошибки, с ним связанные. К писательскому опыту нужно относиться с уважением, — без дерзаний нет искусства. Любопытно, что «Хлеб», так же как и «Пётр», может быть даже в большем количестве, переведён почти на все языки.

Весной 1938 года я написал пьесу «Путь к победе». В этой пьесе взят наиболее тяжёлый момент в судьбе нашей революции: октябрь 1919 года, когда Ленин и Сталин, главные герои пьесы, вывели страну и народ к победе. Пьеса шла на сцене Театра им. Вахтангова.

В этом же году я написал комедию-памфлет на фашизм — «Чёртов мост», который шёл в Камерном театре и Театре сатиры.

Параллельно с этими работами готовил для Детиздата пять томов русского фольклора (вышел первый том, второй подготовлен к печати).

В день начала войны — 22 июня 1941 года — я окончил роман «Хмурое утро». Готовя к печати всю трилогию, я проредактировал первые две части «Хождения по мукам», и в ближайшее время трилогия будет выпущена однотомником, как единое целое.

«Хождение по мукам» менее известно нашему и зарубежному читателю, чем «Пётр». Трилогия писалась на протяжении 22 лет, и читатель ещё до сих пор не видел целиком всего её замысла. Её тема — возвращение домой, путь на родину. И то, что последние строки, последние страницы «Хмурого утра» дописывались в день, когда наша родина была в огне, убеждает меня в том, что путь этого романа — правильный, и в нём я не покривил душой.

В настоящее время я работаю над второй частью драматургической трилогии «Иван Грозный» (первую часть я написал в 1941 году).

Осенью 1942 года я переработал заново мою комедию «Нечистая сила».

За восемнадцать месяцев войны я написал ряд очерков, статей и новелл, вошедших в сборники «Родина», «Я призываю к ненависти», «Что мы защищаем» и в книжку новелл «Рассказы Ивана Сударева».

Для публицистических своих выступлений повседневно черпаю я материал из событий отечественной войны, в которой русский народ проявляет свои удивительные качества отваги, непоколебимой стойкости и ярости в борьбе.

ТВОРЧЕСТВО А. Н. ТОЛСТОГО

(Краткая библиография)

Шестидесятилетие со дня рождения А. Н. Толстого совпадает с 35-летием его литературной деятельности. А. Н. Толстой родился 29 декабря (ст. ст.) 1882 года. Первая книга его (сборник стихотворений) вышла в 1907 году.

Перу А. Н. Толстого принадлежит большое количество самых разнообразных по тематике и литературным жанрам произведений. А. Н. Толстой является автором стихов, рассказов, романов, пьес, статей, книг для детей. Различные исторические эпохи, жизнь дореволюционной России, советская действительность являются предметом его творчества. В дни Великой Отечественной войны А. Н. Толстой проявил себя также в качестве блестящего публициста-патриота, одного из самых активных борцов против фашизма.

В настоящей заметке мы даём только краткую справку о произведениях писателя, так как перечень всего написанного А. Н. Толстым и изданий его книг у нас и за границей, а также многочисленных переизданий и переводов на главнейшие языки мира и языки народов СССР занял бы немалое количество страниц.

Романы и повести

Чудаки (Две жизни) (1910). Хромой барин (1912). Детство Никиты (1919). Хождение по мукам. Трилогия. Часть I. Сёстры. Часть II. Восемнадцатый год. Часть III. Хмурое утро (1921—1941). Повесть смутного времени (1922). Аэлига (Закат Марса) (1922). Похождения Невзорова, или Ибикус (1924). Голубые города (1925). Гиперболоид инженера Гарина (1926). Пётр Первый. Части I и II (1930—1934). Чёрное золото (Эмигранты) (1931). Хлеб (Оборона Царицына) (1937).

Рассказы, очерки, стихи

Лирика (сборник стихов) (1907). Яшмовая тетрадь (1909). Архип (1909). Однажды ночью (1909). Соревнователь (1909). Мечтатель (Алгей Коровин) (1910). Сорочки сказки. (1910). Актриса (1910). Сватовство (1910). Прогулка (1910). Неделя в Турене (Петушок) (1910). Мечь (1910). Лагутка (1910). Два друга (1910). Туманный день (1910). Заволжье (Мишука Нальмов) (1910). Родные места (1910). Эшер (1911). Портрет (1911). Проклятие (1911). Поцелуй

(Синее покрывало) (1911). Клякса (1911). За синими реками (сборник стихов) (1911). Миссионер (1911). Барон (1911). В лесу (1911). Егорий — волчий пастырь (1912). Овражки (1913). Страница из жизни (1913). Приключения Раскёгина (1913). Четыре века (1914). Без крыльев (1914). Большие неприятности (1914). Шарлотта (1915). Пленные (1915). По Вольни (1915). Прекрасная дама (1915). По Галиции (1915). Под водой (1915). Любовь (1915). Профиль (1915). Утоли моя печали (1915). Кулик (1915). Для чего идёт снег (1915). Анна Зисерман (1915). В окопах (1915). На Кавказе (1915). В Англии (1915). Маша (1916). Человек в пенсне (1916). Синица (1917). Тухлый дьявол (1917). Навождение (1917). День Петра (1917). Милосердия! (1918). Простая душа (1919). Деревенский вечер (1920). В Париже (1920). Необыкновенное приключение Никиты Рошина (1921). Лунная сырость (Граф Каллостро) (1921). Чёрная пятница (1923). Гидра (1923). Золотой мираж (1923). Приворот (1923). Рукопись, найденная под кроватью (1923). На острове Ханки (1924). В снегах (1924). Убийство Антуана Рибо (Парижские олеографии) (1924). Случай на Бассейной улице (1926). Завещание Афанасия Ивановича (1927). Древний путь (1927). Василий Сучков (1927). Гадюка (1928). Необычайные приключения на волжском пароходе (1931). Путешествие в другой мир (1932). В Сальских степях (1941). Рассказы Ивана Сударева (1942).

Пьесы

Насильники (1912). Выстрел (1914). День битвы (1915). Нечистая сила (1915). Ракета (1916). Касатка (1916). Горький цвет (1917). Кукушкины слёзы (1917). Смерть Дантона (1918). Любовь — книга золотая (1919). На дыбе (1921). Бунт машин (1923). Изгнание блудного беса (1924). Заговор императрицы (1924). Азеф (1926). Чудеса в решете (1927). Сто тысяч (1927). Пётр Первый (1929). Это будет (1931). Патент 119 (1933). Ажила (1936). Чортов мост (1938). Путь к победе (1939).

Произведения для детей

Желтухин. — Рассказ о капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, хулигане Ваське Табуреткине и злом коте. — Как ни в чём не бывало. — Аэлига (авторская обработка для детей).

Пётр I (авторская обработка для детей). — Золотой ключик, или приключения Буратино. — Русские народные сказки (обработка А. Н. Толстого).

Публицистика 1941—1942 гг.

Я призываю к ненависти, М. Госполитиздат. 1941. 50 стр. «Блицкриг» или «блицкрах». М. Гослитиздат. 1941. 51 стр. Кровь народа М. Воениздат. 1941. 14 стр. Кто такой Гитлер и чего он добивается. Челябинск. 1941. 7 стр. Фюрер (памфлет). М.—Л. «Искусство». 1941. 27 стр. Москве угрожает враг. Л. Политуправление Ленинград. фронта. 1941. 24 стр. Славные дни Царицына. М. Гослитиздат. 1941. 76 стр. Смельчаки. М. Воениздат. 1941.

27 стр. Немецкие орды будут разгромлены. Сб. статей. Свердловск. Госполитиздат. 1942. 32 стр. Родина. Сб. статей. М. «Сов. писатель». 1942. Что мы защищаем. Сб. статей. Ташкент. «Сов. писатель». 1942. 120 стр. Откуда пошла Русская земля. М. Госполитиздат. 1942. 32 стр.

Собрания сочинений А. Н. Толстого издавались несколько раз. Наиболее полными являются: «Собрание сочинений». Тт. I—XV. М. Изд. «Недра». 1929—1930 гг. и «Собрание сочинений». Тт. I—XV. М. ГИЗ. 1927—1931. Кроме того, «Собрание сочинений» в 8 томах было выпущено Ленинградским Гослитиздатом в 1935—1936 гг.

СОВЕТСКАЯ ЖИВОПИСЬ В ДНИ ВОЙНЫ

А. ЗАМОШКИН

★

Художнику-современнику, участнику и свидетелю величайших событий отечественной войны, родина поручила отразить в полотнах самое главное, самое основное: могущество и непреклонность советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.

Выставка живописи, скульптуры и графики «Великая Отечественная война», открытая в залах Третьяковской галлерей, показывает, что художники выполнили это задание Родины.

Она показывает, что советские художники за семнадцать месяцев войны стремились глубоко познать и правдиво передать огромное духовное напряжение в народе, она показывает также, что, несмотря на трудности борьбы, советское искусство не только не глохнет, но ещё вернее, чем раньше, находит свой путь, свои новые формы. В дни войны оно становится голосом героической души народа.

«Изображать в искусстве то, чем ты сам был однажды потрясён: собственное своё душевное движение... — это для талантливого человека самый верный путь к тому, чтобы потрясти и тронуть других». Эти слова взыскательного Стасова разве не живут сегодня для советских художников?

Никогда ещё советская живопись не была так близка к школе русской живописи и идейному русскому реализму, как теперь.

Репин, Суриков, Верещагин обращались к народу, к большим общественным явлениям русской жизни, питавшим их творчество и национальное чувство.

Суриков, Репин дали нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из народной правды, из почвы нашей.

Испытания народа, его борьба, его судьба — вот что даёт жизнь нашей советской живописи. Именно отсюда возникли и «Таня» Кукрыниксов, и «Рабовладельцы» Гапоненко, и «За что?» Николаева, и «Иван Грозный» Соколова-Скаля, и «1919 год» Шурпина, и «Окраина Москвы. 1941 г.» Дейнеки. Образы эти рождались в борьбе. В них каждый мазок кисти ху-

дожника оживал верой в будущее. Они связаны с судьбой народа и ощущением национальной правды русского искусства, они звучат мужественным призывом в дни испытаний, передают народный героизм, беззаветную любовь к отчизне.

Подлинно народное произведение получается не только при наличии у художника любви к родине, надо ещё знать свой народ, сродниться с ним, войти в народную жизнь, как это делали великие русские художники Репин и Суриков.

Выставка показала, что советские художники исполняют долг, для которого они призваны страной. Презрение ко всему условному, искусственному, то, что Лев Толстой считал исключительно русским чувством, составляет отличительную особенность искусства, представленного на выставке.

Свободно владея русской национальной формой, реалистическим изображением жизни, советские художники развивают эту традицию, эту форму в соответствии с нашим временем.

Картины: «Таня» Кукрыниксов, «Рабовладельцы» Гапоненко, портреты героев работы А. Герасимова. «Александр Невский» П. Корина, «Окраина Москвы. 1941 г.» Дейнеки, «За что?» Николаева, «Немец пролетел» Пластина, «Немцы в городе» Куликова не лишены подлинной оригинальности формы. Форма в них вытекает из наших идей и чувств, из героических подвигов, совершающихся во множестве. Скрытая сила этих произведений должна была родиться именно в наши дни, в дни великих испытаний.

Живопись не испугалась глухих раскатов битвы, она отражает суровые дни борьбы и побед, она утверждает жизнь среди разрушения, она стала правдивее, формы её стали выразительнее и скупее, оригинальность приёмов пришла сама собою, потому что живопись, как никогда, осталась верна действительности и истине.

Памятью указание великого Репина, что «глубокая идея становится внушительной только в современной форме, только благодаря форме она возвышается до великого значения», наши художники создали героические произведения в формах, звучащих заново, как бы очищенных в раскалённом горне эпохи.

За время войны окрепло и выросло дарование многих художников. Они потому и сумели создать волнующие произведения, что сами находились в центре событий, видели глазами участников борьбы трудности победы и неудачи. Боевое содружество с бойцами, командирами сделало их более оперативными, обострило их глаз, они получили заслуженное признание в армии и на выставке. Целый ряд значительных полотен создан на основе рисунков, набросков, сделанных непосредственно на передовой линии. В них органически сочетается субъективное ощущение и объективная правда Великой Отечественной войны.

Многие картины создавались по горячему следу, когда душа горит, когда всё стоит перед глазами и творческая фантазия сливается с окружающей жизнью. Пережитое, увиденное, прочувствованное просится на холст и не хочет ждать спокойного времени, когда можно будет тщательно перелистать альбомы зарисовок.

★

Всю свою любовь, всю силу патриотического чувства отдали художники изображению советского бойца, полководца, героя.

История искусства знает различные виды портрета. Развитие того или другого вида портрета зависит от конкретного содержания, которое вкладывает каждая эпоха в понятие героя.

Воспламенялись ли наши художники, создавая портреты, моделью, как воспламенялись ею в своё время великие русские портретисты Репин, Крамской, Серов? Проникались ли советские мастера чувством и сердцем в то, что происходит с человеком в наши дни, показали ли они образ нового человека, новое представление о героизме?

В немногочисленных портретах, представленных на выставке, проступают самые дорогие, благородные черты народного характера: бесстрашие, мужество, преданность советской отчизне, священная ненависть к поработителям-фашистам.

Наши художники решают задачу выявления внутреннего образа людей нашей героической эпохи и создают жанровые героические портреты.

В портретах работы А. Герасимова, В. Яковлева, П. Корина, П. Кончаловского и др. убедительно запечатлены советские патриоты, герои фронта, чьи имена прославлены в наши суровые и героические дни.

Эти портреты созданы художниками, глубоко переживавшими события войны. Без этих переживаний художники не в состоянии были бы выразить новые качества наших людей. Поэтому мы резко отличаем на выставке портреты, сделанные по фотографиям (Вялов, Козлов). В них нет самого главного — образа, они не передают переживаний художника, а, значит, они

и не являются художественными документами эпохи.

Портрет должен передать не только внешний индивидуальный физический облик человека, но в особенности интеллектуальные, моральные черты, соответствующие характеру героя. Как бы детально ни был передан внешний физический характер человека, от этого ещё не получится художественного портрета. Личность, духовная сущность человека выявляются через экспрессивные формы, через взгляд, движение, позу, жест. Художник должен из многообразия состояний лица, взглядов, поворотов, жестов, поз отобрать именно те, которые психологически характеризуют человека в определённой обстановке, конкретных переживаниях при конкретном событии, разговоре, мысли — он ищет и находит состояние, адекватное характеру портретируемого.

Художник улавливает единство внешнего и внутреннего. Он образно переживает личность, возмечивает её, создаёт образ героя.

Так работал в живописи Нестеров, работает А. Герасимов, П. Корин, в скульптуре Меркуров, Мухина, Лебедева, Грубе.

Правда портрета — правда поэтическая, в основе её лежит художественный образ, а не воспроизведение случайной ситуации.

На выставке выделяются своим значительным мастерством портреты героев, созданные А. Герасимовым.

Большим чувством проникнут у художника образ генерал-полковника Еременко. Он покоряет своей естественностью, правдивостью и простотой. Но самое подкупающее в нём — это цельность, ясность и обаятельность героя, русского генерала, любящего всей душой жизнь, преданного своей родине. Умная, добродушная полуулыбка раскрывает перед зрителем основные черты характера советского полководца: сочетание героизма и простоты, человечности и непреклонной воли. Он сразу становится зрителю близким и родным. Колорит портрета соответствует характеру героя: в живописи этого портрета нет той безмерной осязательности плоти, которая раньше была в работах Герасимова.

Погрудные портреты генерал-майора Киселёва и Героя Советского Союза Фисановича также отличаются большой внутренней собранностью. В них раскрываются скромные люди — герои, храбрецы без позы, которые бьют врага сегодня и будут бить его завтра. Выдержанные в гамме серебристо-тёплых тонов, исполненные большой оптимистической силы, эти портреты свидетельствуют о росте таланта А. Герасимова.

Каждый художник своими средствами создаёт характер портрета.

Первоклассный мастер Павел Корин в портрете академика Гамалея даёт замечательный образ советского учёного. Композиция портрета, рисунок, форма, цвет раскрывают глубокое понимание живописцем психологической жизни, силы и ума крупного русского учёного-патриота. Смелая, сильная, нервнотензионная характеристика, включающая в одно зрительное мгновение и образ, и всю биографию героя,

сразу привлекает внимание. Художник нашёл новую форму портретной живописи, своё индивидуальное острое ощущение цвета.

Поэтичен образ мальчика-героя Лёни Рябова у художника Шурпина. Наши ребята полны решимости разделить со взрослыми судьбу родины до конца.

В портрете Героя Советского Союза Юмашева, созданном неутомимой кистью Кончаловского, мы обнаруживаем лишь первое, непосредственное впечатление художника о герое.

Насыщенным жизнерадостным колоритом, характерным движением кисти, всегда подчинённым у него задачам лепки предметов, Кончаловский удачно, но всё же внешне передаёт мужественный облик знаменитого лётчика. Влюблённый в материальность и красочность вещей, он замечательно передаёт костюм Юмашева. Здесь он непревзойдён.

В «Портрете танкиста» с большой профессиональной тщательностью Илья Машков находит облик русского воина-танкиста. Как-раз то, что у многих художников упущено, у Машкова сделано с большим вкусом: костюм — полушубок, шапка и т. д. — даны как художественный элемент. Художник знает, что одежда играет важную роль в решении портрета. Но у Машкова всё же не хватает ощущения в себе человека, не хватает того, что определяет его характер. Герой не живёт у художника вполне самостоятельной и «независимой» от автора жизнью.

В композиционном портрете Героя Советского Союза капитана Гастелло художников Хазанова и Гурвича верно найдены духовные черты легендарного героя. В волевом строгом лице, в облике, повороте, всей фигуре заложены черты внутренней цельности, страстности и романтичности образа героя. Художественные средства здесь подчинены выявлению образа. Фигура удачно вписана в раму, ей органически подчинён сюжетный фон.

Много свежести восприятия в портрете генерал-майора Игнатьева у Василия Ефанова. Художник, наделённый остротой зрительных и красочных впечатлений, вырастает в интересно портрета. В его портретах художника Савицкого, профессора Кончаловского свободно и верно выражена натура, характер, интеллектуальный образ изображаемых лиц.

В. Яковлев в портретах Героев Советского Союза Яковлева и Панфилова убедительно раскрывает черты, выражающие силу и достоинство. Художник придаёт большое значение внешнему сходству, много работает над формой лица, давая осязательное представление о нём, освещает лицо светом, позволяющим рассмотреть составные части его. Он больше рисует кистью, чем пишет ею.

«Портрет партизана», «Портрет писателя Саянова» работы Серова подкупают правдивостью образа. Серов сумел выразить своё непосредственное впечатление в картине, тогда как художникам, менее опытным, удаётся передать его только в карандашных зарисовках с натуры. В портретах Серова и Серебряного мы видим источники великой силы, которая превращает партизана, инженера, писателя в

мужественных народных мстителей. Художники-ленинградцы Серов и Серебряный безыскусно выразили новые чувства мужественных ленинградцев: сознание исторического долга, готовность к жертвам, ненависть, помноженную на страстное желание победы. Это подлинно жанровые портреты, они изображают человека в конкретной обстановке, переводят на язык зримых форм скрытые силы и внутренний жест.

★

Одна из основных тем выставки — тема ненависти к врагу. Многие полотна зажигают сердце зрителя пламенем гнева и ненависти.

Этой ненавистью преисполнены работы художников-ленинградцев. В героические дни осады они встали у орудий, дрались в рукопашном бою, создали произведения-уайки, пригвождающие гитлеровских людоедов к позорному столбу.

В картинах Николаева, Серова, Кучумова, Серебряного, Рутковского, Пакулина вдохновлено и кратко отражены жизнь и борьба ленинградцев. Художники-летописцы заглянули в душу Ленинграда и создали биографию города-фронта, прекращённого из горюдов мира. Это не картины отвлечённого пафоса — это мысли о пережитом, это гневные обличительные документы, призывающие к мести, это картины о героях и героизме.

Тема Ленинграда не у всех ленинградцев нашла завершённое воплощение. Многие их работы — лишь эскизы, а не законченные полотна. Но и в этих очертаниях образов, в эскизах ощущается неувыдаемая сила чувства любви к родине и священной ненависти к врагу.

К лучшим произведениям ленинградцев надо отнести небольшую, но яркую по своему психологическому реализму картину Ярослава Николаева «За что?» (после бомбардировки) и превосходные по живописи этюды зимнего Ленинграда, сделанные Пахомовым. Трагические сцены быта гражданского населения в блокированном городе запечатлены в картинах Кучумова, Рутковского.

В нашей живописи всё более и более утверждается себя картина как сложный организм, как продукт большой работы художника. Такая картина творится, изобретается художником. Она действует на зрителя глубоко психологически, в ней есть чувство, тонкий ум.

Большую живую повесть о любви к русским людям можно было бы создать на основании «Тани» Кукрыниксов, тонкий очерк — на основании «Немец пролетел» Пластова, песню о фронтовой Москве — на основании «Украины Москвы. 1941 г.» Дейнеки.

Одно из замечательных произведений выставки — высокая по своему мастерству, выполненная в традициях великой русской реалистической живописи — «Таня» (казнь Зои Космодемьянской) художников Кукрыниксов. Суровая по своей тональности, внешне сдержанная, но полная внутреннего негодования к врагу, картина повествует о мужестве, бесстрашии и стойкости верной дочери русского народа, немеркнущая слава о которой разнеслась по всей земле советской.

В «Тане» сочеталась историческая правда с совершенным исполнением. Авторы глубоко реалистически передали трагизм событий, нашли наш русский тон скорби и гневный призыв к мести, невольно заражающий зрителя.

Картина, проникнутая настоящим чувством гуманности, понятна не только нам, русским, советским людям. Она захватывает своей человечностью, своей простотой, на первый взгляд кажущейся даже бедной простотой. Зритель как бы становится живым свидетелем происходящего.

Авторы создали картину упорным вдохновенным трудом. Они изучили пейзаж деревни Петрищева, писали этюды с натуры, беседовали с жителями деревни — свидетелями страшного зрелища, упорно и долго работали над выразительной композицией картины.

Картину можно смотреть долго, рассматривать, как рассматриваешь произведения крупнейших русских реалистов.

Образы местных жителей, женщин, детей, которым было приказано присутствовать при казни, даны в различных состояниях, передающих невыносимое горе. Все они композиционно связаны друг с другом — это как бы ступени развития одного чувства. Образы врагов даны без гротеска, поэтому они воспринимаются ещё более омерзительными. Неутолимую ненависть вызывают фашисты, фотографирующие момент казни.

Всё произведение исполнено внутреннего напряжения, которое раскрывается не вдруг, а постепенно.

Тиха и беспорывна русская зима в картине, её лирически, с некоторым оттенком грусти могли написать только те, кому Россия — родина.

Национально самобытная, лаконичная форма в картине доведена до большой степени ясности. Начиная с расположения фигур и кончая подробными характеристиками персонажей, всё оправдано в картине её основным замыслом — вселить ненависть к врагу. Линейно-цветовая композиция картины, построенная несколько асимметрично, придаёт ей трагическо-эпическое выражение.

Среди полотен, обличающих преступления немцев, не забывается и замечательная картина Пластова «Немец пролетел», пронизанная жуткой правдой и тонким лиризмом. Надолго остаётся в памяти у зрителя тёплый осенний день, золотистая роща, берёзки, осинки. И среди этой красоты русской природы убитый пастушок и истерзанное стадо. В картине выхвачен кусочек нашей сегодняшней жизни с её трагическими чертами.

Огромное значение имеет сюжетная разработка темы для создания художественного образа. Сюжет существует для образа, они взаимно между собой связаны.

Существовали раньше, как существуют и теперь на выставке, произведения, в которых и тема есть, и детальная сюжетная проработка, но образа нет. К ним не относится су-

ровая по живописи, почти приведённая к одной тональности, характерная по рисунку, оригинальная по форме картина художника Гапоненко «Рабовладельцы». Она повествует о безграничных страданиях русского народа в оккупированных немцами областях. В непогоду едва бредут наши люди, угоняемые в рабство. На переднем плане лежит только что убитая фашистским конвоиром женщина.

Здесь всё подчинено образу, в том числе и движение, идущее от правого края картины вглубь. Хорошо решено единство фигур и фона: гонимые люди и природа пронизаны глубоким горем и скрытой силой сопротивления. Все художественные средства и приёмы, компановка фигур, чувство пространства, распределение световых пятен находятся в тесной связи с основным идейным замыслом художника, эмоциональным складом его натуры. Картину принимаешь не как эпизод, а как глубоко прочувствованную повесть.

Оригинальная, остро психологическая картина Куликова «Город занят немцами» образно передаёт трагическое состояние города, где хозяйничают убийцы, бандиты, мародёры. Она приковывает к себе зрителя своей композицией, распределением света.

Художнику Ряжскому, автору замечательных картин «Председательница» и «Делегатка», вошедших в золотой фонд советского искусства в предвоенные годы, не всегда сопутствовала удача. Но война помогла художнику снова творчески самоопределиться, найти себя. На выставке он показал большую и волнующую картину «В рабство».

Всю силу своего реалистического дарования Ряжский вложил в это полотно, чтобы передать ненависть к врагу и любовь к русскому человеку. В художнике кипела потребность показать, что каждый километр русской земли, захваченный немцами, — это слёзы русских матерей, вытоптанное нивы, расстрелянные и угнанные в рабство женщины, старики и дети. Картина зовёт к мести.

Удачная композиция картины выражена «облегчённой диагональю», идущей слева направо, это придаёт богатство движению фигур. Движение усиливается склонившейся над трупом фигурой женщины, расположенной на правой стороне картины. Место это самое интересное по выразительности. Эмоционально и психологически написан пейзаж, в котором органически живут все фигуры.

В картине «Не выдам» Финогенов вырос и окреп. Он передал напряжённый и сложный конфликт: столкновение русского мужества, высокой человечности с немецкой зоологической жестокостью. Запоминается обаятельный и цельный образ колхозницы-матери, жертвующей близкими для спасения партизана. Но, к сожалению, успеху картины мешает тёмный колорит, некоторая запылённость цвета.

Картина Решетникова «Немцы в Керчи», повествующая о страшном рве, где были расстреляны и зарыты тысячи детей, девушек.

стариков и женщин, создавалась по горячим следам событий. Художник был на фронте, выслушивал рассказы. Решетников много работал над композицией, притом и над композицией отдельных деталей. Оттого даже вырванные из всей группы отдельные фигуры уложены в линиях и уравновешены в живописных массах. Если о живописи в картине можно спорить, то всё же эта картина одна из самых серьёзных на выставке. Художник возмужал в дни войны.

★

Наша живопись, судя по выставке, сумела глубоко понять то, что можно условно назвать эмоциональной сферой войны, но ещё недостаточно затронула её интеллектуальную сферу. Другими словами, живописцы дают нам почувствовать войну, но ещё мало помогают зрителю понять сложнейший ход военных событий.

Некоторые художники показали лишь отдельные эпизоды войны: Одинцов «На открытой позиции», Дейнека «Артиллерия в наступлении», Гапоненко «Ведут пленных», П. Котов «Миномётчики», «Пулемётчики», Мадоров «Бронебойщики», Куликов «Артиллерия на боевой позиции» и др.

В этих разных по качеству картинах художники недостаточно передали ощущение общего хода войны. Если боец на поле сражения показан в них иногда ярко и убедительно, то само сражение в целом даётся намёком или не показывается вовсе.

Боевой эпизод в живописи — необходимый и неизбежный этап развития военной темы, но теперь наступило время для нового, более глубокого освещения войны, более широкого плана изображения её — создания настоящей батальной картины.

Мы вправе ждать от наших художников, которые впервые в истории мирового искусства так полно и неразрывно слились с армией, защищающей свою страну, произведений широкого батального плана.

Великая Отечественная война с грандиозными масштабами сражений, сложнейшей военной техникой, создавшая новый, необычайный пейзаж позиций фронта, поставила перед художниками задачу найти новые приёмы раскрытия батальной темы.

Некоторые художники добились в этом направлении известных результатов, изучая, с одной стороны, новые условия войны, с другой стороны, наследие крупнейшего мастера русской батальной живописи — В. В. Верещагина.

Прославленный мастер с огромной силой реализма раскрыл лицо войны, дал истинное понятие о ней, показал героизм, мужество, патриотизм и великопленные боевые качества русского солдата. Его живопись была подготовлена не только художественной традицией русского идейного реализма, но, главным образом, жизненным опытом самого художника. Его

искусство сражалось. Он знал войну, участвовал в нескольких войнах, был ранен в бою и героически погиб на посту.

Изучив огромную мемуарную литературу об Отечественной войне 1812 года, Верещагин свою серию создавал по определённому плану, где каждая картина отражает какой-нибудь крупный момент.

Верещагин показал справедливость, народность, жизненную важность войны, которую вёл русский народ против Наполеона.

В наши дни вновь должна быть решена проблема батальной живописи. Начало нового мы видим в некоторых батальных картинах В. Яковлева, Одинцова, Мочальского, Савицкого и др. В них видно стремление показать объёмно и выразительно, в едином образном решении, без нарочитой громоздкости и внешних эффектов, великое искусство победы, уничтожения врага, ломки его стратегических планов.

В картине В. Яковлева «Бой под свободой Стрелецкой» преломилась пристальная наблюдения художника — очевидца войны. Под стенами древнего русского монастыря поздней осенью 1941 года фашистские дальнобойные пушки глядели на Москву. Но они не успели обмолвиться выстрелом. Красная Армия перешла в наступление. Немцы дрогнули, они бежали, теряя танки и орудия. В картине убедительно дан новый многоплановый пейзаж войны. Дорога отступления немцев загромождена брошенными машинами и разбитыми танками, орудиями, грузовиками. В ясное декабрьское морозное утро быстро идут наши бойцы. Зимняя русская природа в картине живёт своей жизнью, полной красок, света, очарования. Общее звучание картины, сделанной в отчётливом и строгом рисунке, — ясное и оптимистическое. В ней сказался творческий опыт создателя больших полотен, опыт современной войны, непосредственно познанной художником на фронте. Картина перекликается с сегодняшними событиями — блестящими победами Красной Армии.

В ряде картин на темы разгрома немцев под Москвой небольшая, но значительная по замыслу картина Денисовского интересно намечает первый шаг к раскрытию образа товарища Сталина — великого полководца отечественной войны. Денисовский, изображая военный совет в избе под Москвой, в дни знаменитого разгрома немецко-фашистских войск в декабре 1941 года, как бы исходит из композиции известной картины Кившенко, изображающей знаменитый совет в Филях.

Суровыми красками показывает Мочальский подвиг двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев. Сцена единоборства с немцами, когда танковая атака врага захлебнулась о стойкую защиту рубежей советскими людьми, воплощена живо и убедительно. В картине нет столь обычного для многих произведений увлечения чисто внешней стороной решения батальной темы. К недостаткам картины надо отнести её притушенную и серую гамму. Красно-

та и пафос героизма требуют строгих, может быть суровых, но сильных красок.

В батальном полотне Одинцова «Борьба за огневой рубеж» динамично передана сцена стремительной штыковой атаки. Здесь единая воля соединяет бойцов, сплачивает их в подвиге, люди действуют в картине, как один человек. Хорошо решена в картине композиция стремительного движения, передающая как бы одно мгновение.

В картине признанного мастера батальной живописи Савицкого партизаны, програвшая оборону врага, уничтожают фашистский штаб и освобождают родное село. Красивая серебристо-серая гамма, распределение световых пятен, фигур в пространстве, вся форма картины подчинена созданию художественного образа.

В батальной картине-панно «Севастополь» художников Христенко, Мешкова и Финегонова, к сожалению, нет ни начала, ни конца. В этом не трудно убедиться, закрывая любой кусок картины с её правого или левого края. Художники-краснофлотцы и маринысты Нисский, Штраних, Ромас, Титов, Дорохов, Мешков и др. дали не только очерки в красках, изображающие наши моря и дела нашего героического флота, не только накопили интереснейший материал для будущих картин, но и представили несколько законченных морских баталлий.

Замечательная по цвету и содержанию картина художника-краснофлотца Ромаса «Залпы Балтики» волею судьбы передаёт бесстрашие балтийских кораблей, оберегающих подступы к великому городу Ленина.

Много экспрессии и драматизма в настоящей батально-морской картине «Бой на Балтике» художников Нисского и Штраниха. Эти мастера хорошо знают морской пейзаж и сложную технику морской войны. Они умеют изображать поведение боевых кораблей, подводных лодок, самолётов, бронекатеров, транспортов. С большой силой реализма изображают они гибель вражеских кораблей, погружение их огромных корпусов в пучину.

★

Новым на выставке является пейзаж войны. В старые русские, привычные для нашего чувства и глаза поэтические пейзажные мотивы вошло необычное, трагическое: развороченная земля, скелеты жилищ, груды развалин, трупы людей. В этих пейзажах бедствий художники передали всю глубину своей любви к родной земле.

Образ родной природы — любимая и единственная тема Василия Мешкова. С большой трагической силой и лиризмом звучат его фронтные пейзажи.

В выставленных им работах с суровой требовательностью к себе художник создал запоминающиеся образы русской природы, где наш народ принимал на себя тяжкий удар, где он научился уничтожать врага. Написан-

ные с большим чувством и живописным мастерством военные пейзажи В. Мешкова звучат призывом: «Не дадим немцам опомниться, будем их гнать дальше». Полотна эти — результат наблюдения и изучения художником ландшафта войны, поездок художника на фронт. В них передано глубокое национальное чувство художника-патриота. Благодаря непрерывному учению у природы, художник нашёл в дни войны новые художественные средства и творческие приёмы, достойные единой темы его творчества.

В картине Шурпина «После боя» пейзаж войны передан выразительно, предметно. Распаханное артиллерией поле войны. Разбитые немецкие орудия. Паутина проволочных заграждений. Воронья стая. Это одна из самых оригинальных картин выставки.

В пейзажах войны Таркова много настоящей правды. Сожжённые дома, как черепа с пустыми глазницами, разбитая немецкая техника на дорогах бегства и жаркие бои на улицах Калуги.

Живописные поэмы создали художники-москвичи о великой, вечной Москве.

Москва — фронтная, грозная, гневная, с её проходящими через город танками, с ошестившимися баррикадами, с зенитками на крышах, с рвами, надолбами, ежами, эскарпами, с москвичами, ставшими строителями защитных рубежей, ополченцами рабочих батальонов — правдиво и остро воссоздана в картинах и рисунках художников-москвичей, влюблённых в свой город: Дейнеки, Нисского, Пименова, Васильева, Кузнецова-Волжского, Раждина, Рыбченкова, Юона и др.

В картине «Окрина Москвы, 1941 год» Дейнеки передан целый эпический образ. Всё в нём пронизано романтикой грозных дней столицы, готовой к битвам с врагом. В картине все элементы — дома, надолбы, мчащийся автомобиль — связаны единством зрительного впечатления и так сопоставлены друг с другом, что воспринимаются как звенья одного ритмического ряда.

В картине «Ленинградское шоссе» художника Нисского по снежному шоссе вглубь стремительно несётся танк с бойцами. Вдоль шоссе вытянулись в линию металлические ежи, склёпанные из железных крестов. Очарование картины в том, что художник уловил эту характерную для декабрьских дней 1941 года сцену так естественно, что самое отношение его к ней вызывает наше восхищение. Зритель, глядя на картину, сразу чувствует себя не безучастным свидетелем, а участником действия. Ему сразу передаётся состояние автора. В этом заключается выразительная сила картины, искупающая несколько слабую её живопись.

С тёплым чувством воспринимаются небольшие архитектурные пейзажи художника Радишова, где показаны драгоценные памятники древне-русского зодчества: храмы, кремли, монастыри. Мировое значение их по-новому раскрылось нам в дни войны.

По-новому воспринимаются теперь и поэтические пейзажи родной земли.

У Нестерова, Былинцкого-Бирули, Бакшеева, Крымова, Грабаря, Крайнева, Белянина — художников поэтизированного реализма — чувствуется подлинно национальное восприятие родной природы, непрекращающееся изучение её поэтических богатств, строгое целомудренное отношение к своему мастерству.

Пейзаж родины приобретает ныне огромную действенную и познавательную силу. В бесконечном близких образах русской, природы, бурных её вёснах, зимних просторах, родных лесах творится сама жизнь, преодолевающая смерть. Пейзажисты-лирики показали нам то сокровенное и скромное, что таится в каждом русском ландшафте — его духовность, его творческие силы. Особенно надо отметить блестящие по технике, ясные и необычайно бодрые пейзажи Бориса Яковлева.

★

В дни отечественной войны особенно полно и вдохновенно ощущаем мы неразрывную связь с нашим героическим прошлым.

Отличительной особенностью лучших исторических картин на выставке является то, что в них художники создали типы и характеры русских замечательных деятелей. Художники как бы переносят зрителей в прошлые века и делают нас свидетелями крупнейших событий русской истории.

Но надо сказать, что не все ещё художники, работающие над исторической тематикой, поняли, что истинная историчность, национальность состоят не в передаче одежды, вооружений, а в передаче самого духа народного. Имена их мы опускаем, чтобы остановиться на лучших произведениях историко-героического жанра. И тут первое место принадлежит П. Корину.

Суровый образ Александра Невского, созданный художником, исполнен грозного обаяния. Строитель русского государства, полководец, нанеший смертельное поражение немецким псам-рыцарям, решён художником в монументальном плане.

Характерный силуэт могучей духом фигуры, суровое цветовое решение, напружающее живопись фресок и витражей, подчёркивают эпическо-героический характер образа. Вытянутый вверх прямоугольник холста усиливает впечатление грандиозности, монументальности.

В большом полотне Соколова-Скаля интересно изображается триумфальное вступление Ивана Грозного, создателя многонационального русского государства, в завоёванную им

ливонскую крепость Кокенгаузен. Иван — полководец, борец за землю русскую, выступает убедительно и приподнято. В картине подчёркнуты блестящие боевые качества русской артиллерии. Несколько театральная по своей трактовке, интересная богатством типов и характеров русских людей, картина создана горячим патриотизмом автора, глубоким интересом к героическому прошлому своего народа, крепкой верой в неисчерпаемые его силы.

В многофигурной, бодрой по цвету и сложной по разработке картине Бунова «Яблочко» с неподдельным увлечением выражена неиссякаемая бодрость бойцов эпохи гражданской войны. Художник глубоко воспринял традицию русской реалистической живописи.

Русское мужество, сила характера бойцов эпохи гражданской войны правдиво переданы и в выразительной картине Ф. Шурпина «1919 год». Реализм и историческая правда ставят эту картину в ряд лучших картин на тему о гражданской войне.

Упорно и долго работал художник Ванезиан над «Окопной правдой». Идея этой сложной по мысли и психологическому состоянию картины — передать действие большевистского правдивого слова о войне на душу солдата — захватила художника. К недостаткам картины надо отнести неясность, недосказанность образа большевика-агитатора и тёмный однообразный тон картины.

Е. Лансере, как и следовало ожидать, дал замечательные по тонкому мастерству небольшие работы о героическом прошлом нашего народа.

★

Что характерно для многих произведений живописи на выставке? При всём их творческом разнообразии все они обладают общими чертами. Это — чувство нового, умение в конкретном выразить большую идейность, безграничную любовь к родине и своему искусству, глубокое изучение жизни, проникновение в избранную тему, умение говорить на языке реалистической живописи, выразить большие идеи своего народа.

Лучшие из представленных на выставке произведений — истинно народные произведения искусства. Они войдут в замечательную сокровищницу русского искусства, собранную в залах Третьяковской галереи, потому что они воплощают самую сущность народа, источник его непобедимости, сохраняют для будущих поколений нашу непримиримость, ненависть к врагам, преданность родине и несокрушимую веру в победу.

ГЕНИАЛЬНЫЙ РУССКИЙ УЧЁНЫЙ В. О. КОВАЛЕВСКИЙ

К 100-летию со дня рождения

С. Я. ШТРАЙХ



В конце прошлого года исполнилось сто лет со дня рождения гениального русского учёного, основоположника новой, эволюционной палеонтологии Владимира Онуфриевича Ковалевского. Отец предназначал ему большую бюрократическую карьеру, но сын не оправдал его ожиданий и пошёл по другому пути.

Насколько можно судить по документам семейного архива и другим материалам, дед Ковалевского происходил от белорусских хлебопашцев. Сначала эти хлебопашцы находились в кабале у польских помещиков и в значительной степени ополчились под панским давлением. После воссоединения Белоруссии с центральной Россией они попали в рабство к екатерининским вельможам. Немногим из них удалось доказать свою принадлежность к свободным хлебопашцам и добиться признания за ними дворянских прав. К таким дворянам, по-видимому, принадлежал помещик села Шустянка, Двинского уезда, Витебской губернии, О. О. Ковалевский. Отец его был католиком, сестра тоже.

Не установлено, какого вероисповедания был сам Онуфрий Осипович, но, по всему судя, считал себя коренным русским. Женился он в Петербурге на русской, Полине Петровне, но жил с нею неладно, может быть потому, что имел побочные привязанности. Это болезненно отражалось на Полине Петровне и оставило горькие воспоминания у обеих её сыновей — Александра, родившегося в 1840 году, и Владимира, родившегося в конце 1842 года.

О. О. Ковалевский старался дать сыновьям хорошее образование. В детстве у них были — по-тогдашнему дворянскому обычаю — домашние учителя. Когда мальчики подросли, отец отвёз их — и заодно больную жену — в Питер. Полина Петровна вскоре умерла (в 1855 году) и похоронена на Волковом кладбище.

Онуфрий Осипович присмотрелся к петербургским делам и решил, что судьба сыновей устроится наилучшим образом, если Саша будет инженером-путейцем, а Володя — юристом-администратором.

Александр Онуфриевич подчинился отцу и

поступил в инженерный корпус. Когда же в Россию хлынула из Западной Европы волна увлечения естественными науками, он решил стать натуралистом-исследователем. Вопреки запрещению отца он ушёл в 1859 году с третьего курса инженерного корпуса и поступил вольнослушателем в Петербургский университет — на первый курс естественного отделения физико-математического факультета.

Весною 1861 года А. О. Ковалевский уехал за границу и около двух лет провёл в западно-европейских университетах. Жил на средства, сколоченные от петербургских учительских заработков. Затем сдал в Петербургском университете кандидатские экзамены, защитил кандидатскую диссертацию и добился заграничной командировки для подготовки к профессуре.

Это было время появления в науке великой дарвиновой эволюционной теории развития живых организмов. Теория завоевывала различные области биологии, преодолевая сопротивление отсталых деятелей науки, цепко державшихся за привычные взгляды и преданных устарелым традициям. Дольше всех противостояли победоносному напору учения Дарвина эмбриология и палеонтология. Завоевание этих отраслей зоологии было чрезвычайно важно для торжества эволюционной теории.

Вторично А. О. Ковалевский поехал за границу — в 1863 году — с широко задуманным и глубоко продуманным планом исследований о развитии низших морских животных. Для своих исследований Ковалевский избрал загадочных в то время животных — ланцетника и несколько асцидий, история развития которых и происхождение оставались невыясненными, хотя ими много и упорно занимались авторитетные немецкие и английские учёные.

Александр Онуфриевич подошёл к делу с большой философской идеей, с глубокой интуицией смелого искателя истины, ломающего то, что установлено традицией и авторитетами. Он обладал творческим вдохновением, находящим новые пути для развития науки. Он страстно любил науку, был осторожным, вдум-

чивым, добросовестным и настойчивым исследователем.

Самоотверженная преданность и любовь к науке дали в короткий срок результаты, поразившие весь учёный мир, прославившие русское имя далеко за пределами страны.

После непродолжительных самостоятельных работ за границей А. О. написал несколько монографий, в которых доказал общность происхождения беспозвоночных и позвоночных животных. Своими исследованиями он положил основание сравнительной эмбриологии.

В 1865 году Александр Ковалевский опубликовал небольшое по объёму исследование «История развития ланцетника», через год другое такое же — «Анатомия и история развития форонис». Первая работа дала ему в Петербургском университете степень магистра зоологии, вторая — степень доктора. Одновременно он опубликовал ещё несколько небольших по объёму исследований.

Затем он был последовательно профессором в Казани, Киеве, Одессе и Петербурге, а с 1890 года — действительным членом Академии наук. Во время университетской деятельности ему приходилось переносить много огорчений от людей, пристроившихся к науке ради карьеры и денег. Был момент, когда он едва не принял предложение одного французского университета, но любовь к родине превозмогла неприятности, и он стойко продолжал свою научную работу в России.

Учёные труды и открытия А. О. Ковалевского высоко ценили за рубежом. Сам Дарвин пишет в своей книге о происхождении человека о великом значении для его теории работ Ковалевского.

За свои большие заслуги перед наукой А. О. был избран почётным членом всех русских и зарубежных университетов, учёных обществ и многих западно-европейских академий. Умер он в ноябре 1901 года, спустя три дня после сердечного припадка, случившегося с ним в кабинете министра просвещения.

Младшего сына Онуфрий Осипович поместил в петербургский аристократический пансион англичанина Мегина, где мальчик превосходно усвоил главные западно-европейские языки. После того отец с большим трудом добился принятия Владимира Онуфриевича в Училище правоведения, привилегированный питомник русского правящего класса. Большую чиновничью карьеру сделали очень многие товарищи Владимира Ковалевского по выпуску. Мог и он сделать такую карьеру.

Но Владимир Ковалевский, так же как его старший брат, как очень многие воспитанники Училища правоведения, Пушкинского лицея, военных и других специальных учебных заведений, увлёкся естественными науками. По окончании Училища правоведения он был зачислен (в 1861 году) на службу в Сенат.

Самовольно оставив службу, В. О. Ковалевский уехал в Лондон. Здесь он сблизился с А. И. Герценом, с окружавшими его эмигрантами и завязал связи в русских радикальных и подпольных революционных кружках. Одно

время он был учителем младшей дочери Герцена Ольги.

Вернувшись через два года в Петербург, В. О. Ковалевский занялся переводом и изданием книг крупнейших западно-европейских учёных в области биологии. На этой почве он познакомился и переписывался с Дарвином и другими знаменитыми натуралистами.

Издательское дело Ковалевский развернул очень широко, сообразно своей увлекающейся натуре, но предприниматель он был плохой. Выпустив за короткий срок около пятидесяти книг, среди которых были работы Дарвина и пятитомная монументальная «Жизнь животных» А. Брэм, издатель не только умудрился влезть в неоплатные долги, но жил всё время буквально впроголодь.

Не принимая лично участия в русском революционном движении шестидесятых годов, Владимир Онуфриевич оказывал услуги нелегальным и полуполициальным организациям.

Есть известие, что в начале 1863 года В. О. Ковалевский отправился со своим приятелем, врачом П. И. Якоби, в русскую Польшу. Оба участвовали в польском восстании. Якоби был ранен, для Владимира Онуфриевича всё сошло благополучно.

В 1866 году В. О. Ковалевский участвовал в одном из революционных походов Гарибальди и напечатал об этом походе несколько корреспонденций в «Петербургских ведомостях».

Трагически сложившиеся обстоятельства, обусловленные больше всего невыдержанным характером самого Ковалевского, создали вокруг него атмосферу недоверия и подозрительности, совершенно бесосновательно, как выяснено исследованием архивов, имя Ковалевского связывалось с разными тёмными слухами, распространявшимися в эмигрантской среде больше пятнадцати лет и отравлявшими его жизнь.

В 1868 году тяжёлое моральное состояние В. О. Ковалевского резко ухудшилось. Его спасло знакомство с 18-летней дочерью генерала Корвин-Круковского, Софьей Васильевной. Девушка обладала большими математическими способностями, хотела учиться в университете. При тогдашних семейных отношениях Софья Васильевна полностью зависела от отца, который не отпускал её из дому. Пришлось выйти фиктивно замуж, чтобы освободиться от тяжёлой опеки отца. Владимир Ковалевский согласился стать её фиктивным мужем.

С. В. и В. О. Ковалевские уехали за границу, провели там пять лет (1869—1874) в скитаниях и материальных лишениях и учились. Софья Васильевна выполнила три крупные математические работы и получила в Геттингене степень доктора. Впоследствии она прославилась как первая женщина-профессор и как писательница.

Два года усиленных занятий в университетах и музеях Германии, Франции, Голландии и Англии, два года неутомимого труда, одушевленного любовью настоящего энтузиаста науки, подготовили Владимира Онуфриевича к самостоятельным исследованиям в области палеонтологии позвоночных. Он принялся, как

писал брату, «за ископаемых млекопитающих, чтобы ближе ознакомиться с ними; через месяц пришла идея специальной работы». Это был результат изучения незадолго до того добытого одним французом скелета анхитерия — трёхпалого ископаемого животного, родственного современной лошади.

В течение следующих двух лет В. О. Ковалевский написал по-английски, по-французски, по-немецки и по-русски несколько работ, увязавших палеонтологию с теорией Дарвина и сделавших эту отрасль биологии, наравне с эмбриологией, главной опорой и обоснованием эволюционной теории развития органического мира.

В многочисленных письмах к брату Владимир Онуфриевич излагает основную идею своего исследования. Эти письма, сохранились в семейном архиве и подготовлены к печати в составе трёхтомной «Переписки братьев Ковалевских», выпускаемой в свет издательством Академии наук под редакцией академика А. А. Борисяка, профессора Д. М. Федотова и моей. Приведу здесь несколько выдержек из писем В. О. Ковалевского, характеризующих сущность его исследований и значение их для эволюционной теории.

В письме от 25 октября 1871 года Ковалевский заявляет, что ему несомненно удалось найти то, что палеонтологи искали со времён великого Кювье: «Вопрос этот для палеонтологии млекопитающих и вообще для соображений о переходе типов очень важный... Работа выходит довольно большая, и я много надеюсь на неё. Для дарвиновой теории, я убеждён, она сделается одним из столпов, потому что переход видов во времени... будет доказан по всем мелочам... Как произошла та или другая форма, как она дошла до той формы, как мы её видим? Вот всё это даст и даже отчасти даёт разумная палеонтология с дарвинизмом. До сих пор она положительно не существовала, и мне кажется, это поле очень благодарное для будущего пятидесятилетия».

Значение палеонтологии для подтверждения теории Дарвина Владимир Онуфриевич подчёркивает во всех своих работах. В классической диссертации об анхитерии он дал характеристику состояния этой науки перед появлением «Происхождения видов» Дарвина. Там же Ковалевский выясняет роль книги Дарвина в дальнейшем развитии палеонтологии. «Как для Кювье, основателя палеонтологии позвоночных, так и почти для всех последующих учёных, животные формы представляют собой нечто неподвижное, нерушимое, запечатое навечно в пределы того, что согласились называть «видом». Каждый «вид» стоял особняком и не имел по теории решительно никакого генетического отношения к сходным видам. Каждый такой «вид» представлял единичный акт творения, и работа натуралиста должна была ограничиваться точным описанием каждого акта творения — вида.

Понятие это, проводимое неуклонно последователями и наследниками Кювье, закрывало всякую дверь истинно научному исследованию. В какую же научную систему можно было

облечь ряд актов, по своему существу всемогущих и произвольных?.. Исследование могло ограничиваться только описанием форм, которые введены творящею силою в мир, — в результате явилась наука исключительно описательная, которую даже нельзя назвать и наукою, так как это слово предполагает законы и связь их в теории, между тем как палеонтология и в значительной степени зоология послекювьеровского периода отвергали всякое теоретизирование и полагали главное достоинство науки в точном описательном методе...

Связующих черт искали немногие, а так как идея генетической связи была изгнана, то никто и не думал о сопоставлении постепенно изменяющихся форм в строгие восходящие или нисходящие линии, проходившие через несколько формаций...»*

Когда же эволюционная теория, таившаяся почти бессознательно в убеждении многих талантливых натуралистов, была, наконец, систематически сформулирована Дарвином и встретила общее сочувствие, она не могла, как отмечает Ковалевский в другом исследовании, — найти себе серьёзных точек опоры именно в палеонтологии. «Почти все чистые палеонтологи очень единодушно заявили свой протест» против теории Дарвина «и продолжали его до последнего времени». А сам он, «не занимавшийся никогда палеонтологией, не мог пополнить этого недостатка»**.

«И вот, — пишет Ковалевский в диссертации об анхитерии, — в это-то натянутое положение науки, когда лучшие исследователи стали ясно сознавать, что идти далее этим же описательным путём, без направляющего луча теории, невозможно, падает внезапно, в виде законченной научной теории, плодотворная гипотеза Дарвина... Все мыслящие натуралисты тотчас же ухватились за неё и повели её быстро дальше».

В том же исследовании Ковалевский пишет: «Широкое признание теории Дарвина мыслящими натуралистами дало новую жизнь палеонтологическому исследованию; исследование ископаемых форм поднялось от простого любопытствующего изучения того, что считалось произвольными актами творения, до глубокого научного исследования форм, находящихся в естественном родстве и прямой связи с формами, которые ныне населяют земной шар и знание которых останется несовершенным и неполным без глубокого знания всех форм, которые предшествовали им в прошлой истории нашей планеты» (стр. 20).

Очень обстоятельно изложил Владимир Онуфриевич сущность своих исследований в обширном письме к брату от 27 декабря 1871 года. Приведу из него некоторые выдержки, заменив специальные термины на иностранных языках русским начертанием или переводом. Письмо относится, главным образом, к исследованию об анхитерии, напечатанному в 1873 году в различных редакциях по-французски

* «Остеология анхитерия...», Киев. 1873, стр. 3.

** «Остеология двух ископаемых...», «Известия Общ. любителей...», М. 1875, т. XVI, вып. I, стр. 26.

(в «Трудах» нашей Академии наук) и по-русски (отдельной книгой в Киеве). «Работа эта, Саша, — пишет В. О. Ковалевский, — вышла совсем не ученическая, а очень основательная и большая; кроме того, это единственный и до сих пор первый опыт такого несомненного приложения и поверки. Вся работа сравнительная и состоит в подробном сравнении четырёх животных». После подробностей специального характера В. О. Ковалевский заявляет: «Я убеждён, что это станет одной из главных опор дарвинизма».

Работа подвигалась быстро вперёд. Полёт творческой фантазии В. О. Ковалевского был смел и плодотворен. «По-моему, — пишет Владимир Онуфриевич брату 5 октября 1872 года, — я напал на очень важные вещи, которые совершенно уясняют много вопросов, бывших просто непонятными до сих пор. Но это думаю я; посмотрим, что скажут другие». Другие — самые выдающиеся западно-европейские учёные — высоко оценили работы русского палеонтолога и признали их важное значение для эволюционной теории.

«Когда все мои работы, — писал В. О. брату 29 ноября, — которые уже готовятся или уже печатаются, будут окончены к будущей осени, то, право, палеонтология изменит свой вид, так много совершенно нового я описываю и так ясно делаю филиацию» (родственную связь).

Выводы получились отличные потому, что в работах В. О. Ковалевского, как пишет в книге о нём акад. А. А. Борисьяк, — «каждая кость рассматривается, как часть живого организма, движущегося и питающегося, и каждая особенность её формы или формы её суставных поверхностей связывается с её функцией, приспособляющейся к окружающим условиям» (А. А. Борисьяк, стр. 84).

В диссертации Ковалевского об анхитерии имеется превосходное рассуждение о приспособлении организма к новым условиям среды: «Я не хочу, копечно, утверждать, что всё это до такой степени целесообразное устройство произошло вдруг, при первом отпадении боковых пальцев; напротив того, вероятно, целые десятки поколений первоначальных лошадей платились переломами ног за подвижное сочленение III-го метакарпала с запястьем, пока, мало-помалу, преимущество, представляемое теми индивидуумами, у которых это сочленение выпало неподвижнее, чем у их собратьев, не заставило их восторгаться над остальными, а признак этот (присутствие связок) так очевидно полезен, что, появившись однажды, он уже не мог быть утраченным; вот почему мы и встречаем его у всех современных лошадей» (стр. 46 и сл.).

В другой работе — «Остеология двух ископаемых» — В. О. отмечает, «что развитие современных животных типов совершалось не так просто, как это иногда представляли себе, что оно никогда не шло по одной нисходящей линии от древнего типа к современному, но напротив того, каждый древний тип рассыпался на несколько линий, продолжавших существовать одновременно, подвергаясь в то же время

влиянию борьбы за существование, всегда тем сильнее, чем линии находятся в ближайшем родстве между собою. Под влиянием этой борьбы и связанной с нею утилизации всякого преимущества в организации, представляемого одними типами в сравнении с другими, некоторые из них вымирали, тогда как другие всё более отклонялись в известном для типа направлении и мало-помалу становились господствующими».

В заключительной части русской работы об анхитерии В. О. Ковалевский говорит о связи его исследования с дарвинизмом. Такая работа представляет, «после всех блестящих побед теории Дарвина, непреодолимую преграду для всякого естествоиспытателя».

Убеждённым, стойким дарвинистом В. О. Ковалевский, — как отмечает новейший исследователь его научного творчества проф. Л. Ш. Давиташвили, — является во всех своих работах. Он последовательно применяет теорию Дарвина для объяснения процессов эволюционного развития животных; одним из самых крупных достижений палеонтологии является, по указанию упомянутого автора, выдвинутая Ковалевским идея об адаптивных (приспособляющихся) и неадаптивных типах строения.

Вымирание парнокопытных, относящихся к неадаптивным (неприспособляющимся) типам, Ковалевский объясняет естественными причинами, не прибегая к мистическим толкованиям, которые получили впоследствии широкое распространение у некоторых западных палеонтологов. К проблеме вымирания организмов он подходит как представитель естественно-исторического материала. Идея Ковалевского об адаптивных и неадаптивных типах строения «безусловно заслуживает дальнейшей разработки в применении к различным случаям эволюционного развития всевозможных групп организмов, — подчёркивает профессор Давиташвили. — Основная идея «инадаптивной и адаптивной редукции конечностей парнопалых» вскрывает закон, наблюдаемый в эволюционном развитии всего органического мира. Этот общий закон инадаптивной и адаптивной эволюции правильно было бы назвать законом Владимира Ковалевского»*.

Выше было приведено заявление В. О. Ковалевского о большом значении его палеонтологических исследований для обоснования теории Дарвина. Это мнение автора о своих работах, как пишут советские палеонтологи, академик А. А. Борисьяк и профессор Л. Ш. Давиташвили, не преувеличено. Ковалевский только ошибся относительно срока влияния его работ. Идея, заложенные в исследованиях В. О. Ковалевского, и теперь разрабатываются учёными нашей страны, Западной Европы и США. Всё дальнейшее развитие эволюционной палеонтологии вытекает из работ, выполненных нашим учёным в 1872—1874 гг.

Владимир Онуфриевич является для настоящего времени, по словам акад. А. А. Борисьяка, в его книге о Ковалевском (1928 года) и

* Л. Ш. Давиташвили — «Развитие идей и методов в палеонтологии после Дарвина». М. 1940, стр. 44 и 237.

позднейших статьях о нём, — общепризнанным основателем эволюционного и биологического направлений в палеонтологии. Он создал гениальный набросок здания будущей палеонтологии, над разработкой которого трудятся современные палеонтологи. Его метод, его подход к ископаемым остаётся вполне современным.

Не всегда гениальные русские доэволюционные учёные пользовались таким всеобщим и восторженным признанием за рубежом, какое пришлось на долю В. О. Ковалевского. Приведу несколько отзывов самых значительных западно-европейских и американских палеонтологов. Одни из этих отзывов публикуются впервые — по материалам из архива семьи Ковалевских; другие цитируются по книге акад. А. А. Бориска — «В. О. Ковалевский, его жизнь и научные труды» (Л. 1928); по книге проф. Л. Ш. Давиташвили — «Развитие идей» (М. 1940); по обзору жизни и научной деятельности В. О., составленному акад. Д. Н. Анучиным*, иные беру из произведений их авторов.

Все эти отзывы показывают, с одной стороны, величие кратковременной научной деятельности В. О. Ковалевского; с другой стороны, они характеризуют то огромное влияние, которое имел этот учёный нашей страны на развитие мирового естествознания.

Академик Д. Н. Анучин цитирует заявление венского историка развития млекопитающих Кельнера, который ещё при жизни Ковалевского писал, что его «знаменитые работы составляют образцовые произведения, в которых приведены доказательства, подтверждающие верность основных положений дарвиновой теории».

Современный немецкий палеонтолог О. Абель заявлял в 1907 году, что благодаря работам Ковалевского «палеонтология вошла в новый, плодотворный период развития». «Только после того, как в 1874 году Владимир Ковалевский набросал пути будущего развития палеонтологии, начали обращать внимание на то, что исследование ископаемых позвоночных имеет ценность»**.

Знаменитый американский палеонтолог Осборн писал в книге о «Происхождении млекопитающих» в 1894 г.: «Двадцать лет тому назад открылась новая эра в палеонтологии млекопитающих... Ковалевский написал и издал... свои четыре замечательных труда о копытных... вместе с первой попыткой группировки этой огромной группы млекопитающих на основе эволюционной теории. Эти труды смели всю сухую традиционную европейскую науку об ископаемых. Они проникнуты новым духом Дарвина, которому посвящена главная работа». Спустя четыре года тот же учёный писал о «кратковременной, но блестящей» исследовательской деятельности В. О. Ковалевского и об его «великом принципе» приспособления организмов животного к условиям изменяющейся среды.

* «Речи и отчёт... Московского университета 12 января 1884 г.», М. 1884.

** О. Абель, «Основы палеонтологии», перевод с немецкого, стр. 61, Л. 1928.

Ещё в 1893 году, и много позднее, в 1910 году, Осборн писал: «Если учащийся спрашивает нас сегодня — «как мне учиться палеонтологии?», — то мы не можем сделать ничего лучшего, чем отослать его к «Опыту естественной классификации ископаемых копытных» Ковалевского... глубоко современному по его методу подхода к древней природе. Этот труд есть образцовое соединение подробного изучения формы и функции с рабочей гипотезой. Он рассматривает ископаемое не как окаменевший скелет, а как нечто принадлежавшее двигавшемуся и питавшемуся животному... Подымаясь к философии предмета, Ковалевский рассматривает четвероногих ископаемых биологически».

Выдающийся швейцарский палеонтолог Л. Рютимейер печатно заявил в 1875 году, тотчас после опубликования работ Ковалевского, что они «превосходны» и представляют «ценный вклад в науку». Эти работы, по словам Рютимейера, содержат так много новых идей, что пройдёт немало лет, пока «менее подвижные коллеги» Ковалевского смогут «следовать открывшимся перспективам».

Эволюционные идеи В. О. Ковалевского излагались в обобщающих работах и книгах, посвящённых эволюции, — в книге Перье «Трансформизм» (1888 г.), в статьях знаменитого американского палеонтолога Э. Д. Кона (1889 г.).

Знаменитый бельгийский учёный Л. Долло писал в 1909 г., что из всех палеонтологов «гениальный Владимир Ковалевский» наиболее полно «олицетворяет современную палеонтологию». Долло называет русского исследователя своим «истинным учителем в области палеонтологии».

Крупнейший французский палеонтолог А. Годри говорил Д. Н. Анучину, что «не встречал палеонтолога, который бы стоял выше Ковалевского по развитию и широте научного кругозора, по способности путём внимательного изучения остеологических подробностей восходить до широких генеалогических концепций».

Известный натуралист Карл Фогт писал В. О. Ковалевскому тотчас после выхода в свет его первой работы об анхитерии, что эта работа доставила ему «совершенно исключительное удовольствие, так как она принадлежит к немногим палеонтологическим работам, которые были соответствующим образом написаны об ископаемых» (неизданное письмо от 19 февраля 1874 г.).

Восторженный отзыв прислал Ковалевскому французский зоолог и палеонтолог А. Ф. Марион. «Мне хочется, — пишет он, — поздравить вас по поводу той лёгкости, с какой вы пишете на всех языках. Ваши описания великолепны и обладают той лёгкостью стили, которой нам не всегда удаётся достичь... Благодаря вашей работе я испытываю глубокое удовлетворение» (неизданное письмо от 19 февраля 1874 г.).

Знаменитый немецкий сравнительный анатом Гегенбаур писал Владимиру Онуфриевичу, что его работы — «образец глубокомыслия».

Закончу эту сводку, свидетельствующую о большом значении работ русского учёного для развития мировой науки, заявлением самого Дарвина в его письме к В. О. Ковалевскому. Полностью это письмо опубликовано мною в статье, посвящённой столетию со дня рождения А. О. Ковалевского («Советская наука», 1940, № 7), так как в нём говорится о работах обоих братьев. Здесь приведу отзыв Дарвина о младшем брате, высказанный после появления его первой палеонтологической статьи в «Трудах» английской Академии наук. «Вашу статью в журнале Королевского общества, — писал Дарвин 21 мая 1873 года, — я считаю ценным вкладом в науку; если бы Ваш адрес был мне известен, я написал бы Вам тогда же. Но что гораздо важнее моего мнения, это то, что профессор Флаур, по моим сведениям, цитирует некоторые из Ваших выводов на своих лекциях и вообще с ними согласен».

В. О. Ковалевский оставил также несколько геологических работ. В них он, по удостоверению академика А. А. Борисяка, «стоял на уровне новейших течений западной науки его времени, и его целью было — перенести эти новые научные течения на русскую почву, направить на них внимание русских геологов» (стр. 73).

Исключительные успехи в науке не избавили В. О. Ковалевского от личных страданий самого разнообразного свойства. В марте 1872 г. он сдал докторские экзамены в Иене и получил учёную степень. В это время у него уже печаталось несколько работ на английском, французском, немецком языках в изданиях русской, английской и немецкой академий. Надо было только выждать появления их из печати, перевести на русский язык и представить в качестве диссертации в какой-нибудь русский университет.

По целому ряду личных причин Ковалевский поехал в конце 1872 г. в Одессу, чтобы сдать там магистерские экзамены. Незадолго до этой поездки Владимир Онуфриевич очень резко отзывался об одесском профессоре геологии И. Ф. Синцове, который действительно был незначительной научной величиной. Теперь Синцов отомстил своему суровому критику, воспользовавшись отсутствием в Одессе другого специалиста-геолога и не вполне лояльным отношением к В. О. некоторых других членов факультета. В январе 1873 года Ковалевский держал в Одессе магистерские экзамены, которые сначала прошли благополучно. Но провозируемый Синцовым, терзаемый личными переживаниями на почве материальной нужды и фиктивного брака, Владимир Онуфриевич сам назвался на повторный экзамен. Синцов провалил его.

В. О. Ковалевский уехал за границу. Там ему предлагали кафедру. Он отказался из соображений патриотических. Написав ещё не-

сколько работ, он летом 1874 года вернулся с Софьей Васильевной в Россию. Материальная неустроенность вообще, желание обеспечить совместную жизнь с женой (их фиктивный брак превратился в действительный), необходимость уладить дела со старыми издательскими долгами — всё толкало В. О. Ковалевского к выпуску новых книг. Жена поощряла его. Дело шло, как и до отъезда за границу: В. О. Ковалевский метался, переводил, редактировал, издавал. Наживался книгопродавцы, он только увеличивал свои долги.

Неблагоприятно сложившиеся обстоятельства и недостатки характера вызвали целый ряд новых неудач в материальных и других житейских делах Ковалевского. Всё это осложнилось условиями помещичье-собственнического государства, при которых гениальный учёный долго не мог получить кафедры доцента в отечественных университетах и вытеснялся оттуда полунежесткими, но ловкими чиновниками от науки. Запутавшись в материальных делах, морально раздавленный, Ковалевский малодушно ушёл из жизни — в апреле 1883 года он отравился.

Из всего изложенного видно, что идеи, оставленные В. О. Ковалевским в его трудах, оказали большое влияние на развитие мирового естествознания. Было также отмечено, что гениальный русский учёный не нашёл признания у представителей официальной науки. Лишь после Великой Октябрьской социалистической революции советская наука сумела правильно оценить огромное значение палеонтологических работ давно умершего гениального учёного.

Советские учёные оценили и продолжают развивать идеи не одного только В. О. Ковалевского. Приняв с благодарностью к памяти своих великих предшественников всё подлинно научное наследство дореволюционной России, они с честью несут знамя передовой науки и творчески разрабатывают идеи братьев Ковалевских, Лобачевского, Менделеева, Пирогова, Тимирязева, Столетова, Лебедева, Бутлерова и многих других выдающихся учёных, прославивших нашу страну в прошлом.

Вероломное нападение подлого врага на СССР не прервало творческой работы советских учёных и не может помешать их дальнейшим научным достижениям. После окончательного разгрома гитлеризма, являющегося делом ближайшего времени, влияние наших учёных на развитие мирового естествознания будет продолжаться ещё в большем масштабе, чем прежде. Освобождённые от тевтонского ига народы Запада а ещё большим уважением будут произносить имена прежних русских и нынешних советских исследователей в науке и технике, с благодарностью будут пользоваться достижениями нашей страны во всех областях культуры.

БИБЛИОГРАФИЯ

О „РОДИНЕ“*

(Сборник высказываний русских писателей о родине)

Родина... «Как много в этом слове для сердца русского слилось!» — так можно было бы перефразировать известные стихи Пушкина, говоря об отношении русских писателей к родине. И какой же русский человек не любит свою страну, свою родину, свою Русь! Всё, что есть самого ценного у русского человека, у русского народа, слилось в слове «Родина». На широких бескрайних просторах русской земли рос, закалялся в борьбе, строил свою культуру, своё искусство великий русский народ. Его жизнь, его борьба, его беззаветная любовь и преданность родной земле составляют вечную тему нашей литературы.

Идея единства русской земли звучит в нашей начальной летописи (XI—XIII вв.). Идея единства является центральной мыслью «Слова о полку Игореве». Вот почему авторы сборника «Родина» начинают со знаменитого памятника XII века. И как созвучно нашим дням это гениальное произведение! Ведь это там, на Дону, где сейчас русские полки бьют немецких захватчиков, шли бои с половцами, ведь это наши предки — знаменитые куряне.

Под шеломами повиты,
С конца копья вскормлены,
Пути им ведомы,
Овраги им знаемы,
Луки у них натянуты,
Колчаны изтворены,
Сабли изострены,
Сами скачут,
Словно серые волки в поле,
Ища себе чести
А князю славы.

О величии, богатстве, славе и силе русской земли говорит отрывок «Слово о погибели земли русской». Этими двумя памятниками представлен древний период русской литературы. Жаль, что авторы не включили сюда «Задон-

щину» (XIV—XV вв.), «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства» (XVI—XVII вв.).

XVIII век представлен в сборнике М. В. Ломоносовым, Сумароковым, Державиным, Карамзиным. Отрывки из произведений Ломоносова подобраны удачно, а самое основное выражено в стихах:

Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!..

Из творчества Сумарокова нужно было обязательно взять места о русском языке. «Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат», Державин должен быть дополнен стихами, посвящёнными А. В. Суворову. Карамзин представлен скупой, его нельзя брать без статьи «О любви к отечеству и народной гордости». Со всем непонятно, почему отсутствует в сборнике Жуковский с его произведением «Певец во стане русских воинов», с прекрасными стихами:

О, родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Пламенный патриот России А. Н. Радищев представлен хорошими отрывками. Но жаль, что отсутствуют его последователи поэты-радищевцы, он выступал бы тогда ярче.

XIX век отражён наиболее полно. Сжато, но характерно отобран материал из творчества Дениса Давыдова. «Ещё Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе её неприятелям, если она когда-нибудь подымется!» — здесь весь Денис Давыдов. Включённые стихи К. Ф. Рыльева прекрасны, за исключением отрывка из думы «Вольинский». Думы вообще не самое сильное в творчестве Рыльева, а дума «Вольинский» слаба и неисторична.

Прекрасны стихи и отрывки из Пушкина. Говорить о полноте тут не приходится. «К Чаадаеву», «Полтава», «Медный всадник», «Евге-

* «Родина», Гослитиздат, 1942.

ний Онегин», «Перед гробницею...», «Клеветникам России» — представлены в сборнике.

Лермонтов писал:

«Люблю отчизну я, но странною любовью!» — Его «Бородино» великолепно воспроизводит картину Бородинской битвы и дух русского солдата. Отрывки из драмы «Странный человек», «Из заметок», стихи «Два великана» безусловно должны быть дополнены отрывком из знаменитой «Песни про купца Калашникова».

Н. В. Гоголь... И сразу в сознании возникает образ тройки. «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необранная тройка, несёшься... Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ! Не даёт ответа...» Отрывки из «Мертвых душ», из «Тараса Бульбы», из «Заметок о Пушкине» и др. ярко рисуют любовь Гоголя к России.

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, и неизбежно возникает образ великого сына русского народа В. Белинского. Отрывки из сочинений Белинского хороши, но их можно было и умножить, поместить, например, отрывок из его письма к Боткину в 1841 г., где неистовый Виссарион высказал свою любовь к русской литературе: «Умру на журнале и в гроб вею положить под голову книжку Отечественных Записок. Я литератор! Говорю это с болезненным и вместе с тем радостным убеждением. Литературе российской моя жизнь и моя кровь!»

Герцен и Огарёв — два имени, принадлежащие истории русской свободолюбивой мысли. «Я всеми фибрами своей души принадлежу русскому народу...» — говорит о себе Герцен. Отрывки, приведённые из его сочинений, хорошо раскрывают эту русскую натуру, кровную связь её с Русью.

Там, где ещё не затихли ожесточённые бои, на берегах рек Дона и Воронежа, писал свои стихи И. С. Никитин. Его «Русь» нашла свое законное место на страницах сборника «Родина».

Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью,
Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову!

«Юг и север», «Донцам» — также к месту в сборнике, но почему нет старшего воронежского поэта А. В. Кольцова — непонятно.

Шестидесятники представлены в сборнике именами Н. Чернышевского, Н. Добролюбова, Н. Некрасова, Салтыкова-Щедрина. Что такое родина и как выражается её неотразимое влияние на человека, показывали все русские писатели. Но наиболее ярко выразил это Салтыков-Щедрин: «Отечество есть тот таинственный, но живой организм, очертания которого ты не можешь отчётливо для себя определить, но которого прикосновение к себе ты непрерывно чувствуешь, ибо ты связан с этим организмом неразрывною пуповиной. Он, этот таинственный организм, был свидетелем и источником первых впечатлений твоего бытия,

он наделил тебя способностью мыслить и чувствовать, он создал твои привычки, дал тебе язык, верования, литературу, он обогрел и приютил тебя, словом сказать, сделал из тебя существо, способное жить. И всего этого он достиг без малейшего насилия, одним тёплым и бесконечно любовным к тебе прикосновением. Он сделал даже больше того: неусыпно обнимая тебя своею любовью, он и в тебе зажгёт священную искру любви, так что и тебе нигде не живётся такою полною, горячею жизнью, как под сенью твоего отечества».

Как же не любить то, чему ты обязан мыслью и чувством, привычками и языком, верованиями и литературой, словом, всем своим существованием? Как же не любить своё родное гнездо? И мы любим его. Испокоин веку владеет оно нашим сознанием. Отечество наше — это прежде всего народ. Русские писатели и в особенности шестидесятники всегда глубоко верили в неисчерпаемые силы нашего народа. Сколько бы мы ни выбирали отрывков из творчества этих писателей, всё будет казаться мало. Скажем, что выбранные места их сочинений удачны и характерны для них.

Тургенев, Достоевский, Лев Толстой.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» Тут весь Тургенев. Отрывки из воспоминаний о Белинском, из речи о Пушкине только расширяют эти мысли. Следовало бы привести отрывки из романов Тургенева, так трогательно и с большой поэтической силой рисующих русскую природу, русского человека.

Отрывками из произведений великого писателя земли русской Льва Николаевича Толстого можно было бы занять весь сборник. Перед составителями стояла большая задача — отобрать из его творчества небольшие образцы. «Война и мир», «Севастопольские рассказы», «Рубка леса» — разве это всё? Всё кажется мало и всё у Толстого кажется ценным. Как не вспомнить замечательные слова В. Ленина: «Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... Кого в Европе можно поставить рядом с ним? — Некого».

XX век представлен творчеством В. Брюсова, А. Блока, М. Горького и Вл. Маяковского.

«Старый вопрос» Брюсова читается и сейчас с интересом:

И что же! священный союз
Ты видишь, надменный германец?
Не с нами ль свободный француз,
Не с нами ль свободный британец?

Прекрасны и к месту стихи А. Блока «На поле Куликовом» (тем досаднее отсутствие такого памятника, как «Задонщина») и «Новая Америка», но почему нет остальных стихов о родине — из цикла «Родина»? Вот, наконец, титан наших дней — Алексей Максимович Горький. Отрывки из речей, статей, писем Горького обязательно должны быть дополнены отрывками из его художественных произведений. Тут и Данко, тут и «Девушка и смерть», тут и Сатин с

его формулой: «Человек! Это — великолепно! Это звучит гордо!» Ведь это всё наши русские идеи, наша природа, наша натура!

Сборник заканчивается отрывками из стихотворений Вл. Маяковского. Они подобраны хорошо, достаточно ярко раскрывают отношение поэта к родине. «Хорошо», «Десятилетняя песня», «Марш-оборона», «Стихи о советском паспорте» показывают поэта в борьбе за счастье родной земли.

Итак, сборник достаточно полно охватывает тему родины в русской литературе. Редакция сборника (А. Еголин, Е. Михайлова, А. Мясников, В. Орлова, И. Розанов, Н. Рубинштейн, М. Юнович) проявила большую любовь к теме и её разработке. К сожалению, некоторые необходимые произведения русской литературы не вошли в книгу, а они должны

быть там, если даже не претендовать на исчерпывающую полноту сборника. Несомненно, недостатком является отсутствие былин, исторических песен, памятников XIV—XVII вв., исторической хроники А. Н. Островского о Минине и Пожарском и других произведений. Жаль, что «Слово о полку Игореве» и «Слово о погибели земли русской» взяты в неудачных переводах.

Введение отрывков из названных произведений на немного увеличило бы сборник, но зато придало бы ему необходимую стройность и полноту. Однако сборник и без этого дополнения очень своевременен и нужен нашему читателю.

Книга издана Гослитиздатом в прекрасном оформлении.

М. Добрынин.



„МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА“*

Горький в одной из своих статей о Ленине писал, что новый мир рисовался перед ним как «грандиозная картина земли, изящно ограниченная трудом свободного человечества в гигантский изумруд. Все люди разумны, и каждому свойственно чувство личной ответственности за всё творящееся вокруг него. Повсюду города-сады, вместилища величественных зданий, везде работают на человека покорённые и организованные его разумом силы природы, и сам он, наконец, действительный властелин стихии». Эта картина земли, ограниченная трудом свободного человечества в гигантский изумруд, ярко выражена в сказах старого Урала, в стремлении и мечтах людей подчинить себе природу, овладеть её тайнами и создать на земле радостную, свободную жизнь, полную творческого труда.

«Пойдём на гору сказки слушать.

Сказки? Что я, маленький?..» — так начинается вступление к книге П. Бажова. И действительно, пока вы не услышали сказов старого Хмеленина, в вас говорит предубеждение «трезвого» человека, не желающего тратить время на «пустяки».

Но стоит вам взять в руки эту чудесную книжку, в которой реальное изумительно переплетается с фантастическим, как от вашей «трезвости» не остаётся и следа, и вы с жадным вниманием поглощаете эти сказки, полные мудрости, красоты и блеска. И перед вами чудесный мир неиссякаемых богатств, где сначала даже не знают цены им.

«Золота этого... кризалитов... меди... полно было. Бери, сколько хочешь. Ну, только старые люди к этому не свычны были. На что им? Кризалитами хоть ребятишки играли, а в золоте иикто и вовсе толку не знал. Крупинки жёлтеньки да песок, а куда их?..»

Но скоро узнали ценность золота, драгоцен-

ных самоцветов, рудных богатств Уральских гор, узнали — и потянулись к этим богатствам. Старым людям, не знавшим цену их, пришлось уйти в гору, запереться в ней и ждать того времени, когда жизнь изменится и люди перестанут грызть друг друга из-за овладения этими богатствами.

Борьба с природой за овладение богатствами недр, борьба людей за лучшую жизнь, борьба с эксплуататорами — вот содержание книжки.

«Малахитовая шкатулка» — это не только богатство уральских недр, это ещё в большей степени драгоценные свойства рабочего люда Урала: его стойкость, выносливость, богатырская сила, неиссякаемая энергия, воля к жизни, любовь к родному краю, стремление к вольной жизни.

Природа не остаётся бесстрашной в этой борьбе. Она безжалостно карает злых, жестоких и тупых и открывает свои тайны сильным, смелым и мудрым, помогает и покровительствует им, ревниво хранит и оберегает для них свои несметные богатства.

Мало ещё таких людей, их время ещё не пришло, но всё же, какое богатство характеров, дарований, силы и отваги сверкает в этих сказах о рабочих людях Урала! Как бы ни была тяжела их участь, каким бы испытаниям они ни подвергались, вы чувствуете в каждом из них негибкую волю, твёрдую, как уральская сталь.

В сказе «Медной горы хозяйка» рабочему Степану обещана воля, если он найдёт такую малахитовую глыбу, чтобы из неё можно было вырубить столбы пяти сажень длиной.

«Нашёл, конечно, Степан. Что ему, коли он всё нутро горы вызнал и сама хозяйка ему помогает». Эта «хозяйка» играет во всех сказах первенствующую роль. Она является олицетворением мощи, богатства и красоты недр, одухотворённой силой мёртвой природы.

* Сказы старого Урала. «Советский писатель», 1942.

Прекрасный образ самородка-художника дан в сказе «Каменный цветок».

Сирота Данила Недокормыш попадает в учение к мастеру по выделке художественных вещей из малахита Прокопьеву. Данила проявляет с первых же дней ученья такое тонкое понимание искусства, такой вкус, что изумляет самого Прокопья, первого мастера в этом деле. Но Данила не удовлетворён своими успехами. Он ищет новых форм, нового содержания в искусстве. «Хозяйка» покровительствует ему, уводит в своё подземное царство и раскрывает перед ним тайны природы.

Данила достигает огромных успехов, но он тоскует и рвётся к жизни, к людям. Мёртвая природа, искусство, оторванное от живой жизни, от людей, не может заполнить души художника. И когда «хозяйка» предлагает Даниле сделать выбор—или отказаться от всех достигнутых им успехов в искусстве, или забыть людей и любимую, он отвечает: «Не могу людей забыть, а её каждую минуту помню».

В сказе «Дорогое имячко» дан обаятельный образ юноши-мечтателя, ищущего правды и справедливой жизни. «Пошёл за хорошей жизнью, а видит тут грабёж да пьянство, и откатился от казаков... Пойду к тем людям, которых грабят собираются». И он даёт им совет запереться со своими богатствами в Азов-горе и не открывать её, пока не явятся настоящие люди.

Этот юноша мечтает о том времени, «когда ни купцов, ни даря даже званья не останется. Вот тогда и в нашей стороне люди большие и здоровые расти станут». Он не надеется дожить до того времени и наказывает перед смертью своей невесте: «Один такой подойдёт к Азов-горе и громко скажет твоё дорогое имячко. И тогда зарой меня в землю и смело, весело иди к нему. Это будет твой суженый. Пушай тогда всё золото берут, если оно тем людям на что согдится... и в ту же минуту Азов-гора замкнулась. Пока час не придёт, не откроется Азов-гора». Какие же силы, какие люди откроют Азов-гору и овладеют её несчётными богатствами, какой знак даст гора людям?

«Одна только знак был. Это когда ещё батюшка Омелян Иванович проявился и рабочие на Думной горе собираться стали. Так вот старики иаши сказывали, будто на то время из Азов-горы как песня слышалась. Ровно мать с ребёнком играет и весёлую байку плетёт. С той поры не было. Когда крепость снимали, нарочно многие ходили к Азов-горе, послушать, как там. Нет, всё стонет. Ещё ровно жалобней. Ожо и верно, денежка похуже барской плётки жарод гонит и чем дальше, тем ровно больше силу берёт».

Не раскрылась Азов-гора ни при Пугачёве, хотя и подавала знак, не раскрылась, а ещё жалобней застонала, когда «крепость снимали». Здравый смысл народа правильно расценил значение «реформ».

В сказе «Две ящерики» рабочий Андрияша как бы противопоставляется мечтателю о прекрасной жизни из «Дорогого имячка», Андрияша

полон силы, энергии и ненависти к хозяевам. Он не ждёт, когда придут другие люди открыть гору, овладеть её богатствами. Он сам своей борьбой стремится приблизить золотое время освобождения народа от всех тягот и ведёт борьбу всеми доступными для него средствами, не зная страха и колебаний. Никакими преследованиями не удастся сломить его воли к борьбе, ослабить его дух. После того, как он «схитрился да посадил козлов сразу в две печи», т. е. заморозил их, его схватили и посадили в гору на цепь. «Рудничные про Андрияшу наслышаны были, всяко старались его выволить, а не вышло. Стража понаставлена, людей на строгом счету держать... Ну никак...» Вызволила «хозяйка», которая расконала Андрияшу и увела в свой подземный дворец. Андрияша отдохнул, оправился и вновь готов к борьбе. «Теперь не худо бы барину Турчанинову за соль спасибо сказать. Подарочек сделать, чтобы до слёз чихнул... Андрияша и походил у печей-то... Опять всё глухо заморозил». Но такая борьба не настоящий путь к победе, её легко пресечь, и Степан нашёл новую, правильную дорогу и пошёл по ней. «Выведет тебя дорога, куда надо», — напутствует его «хозяйка».

Обаятельны женские образы в сказках старого Урала.

Хороша гордая красавица Таня, обладательница малахитовой шкатулки с драгоценностями, которые только ей, дочери уральского рабочего Степана, подходят к лицу, которые только она может и достойно носить. Её ослепительная красота привлекает все взоры, все сердца. Прелестен образ Кати, невесты Данилы из «Горного мастера». Её неиссякаемая твёрдая уверенность в том, что Данила вернётся, её глубокая любовь к нему и верность полностью вознаграждаются. Но она не просто верна и терпелива. Нет. Дорогу к любимому она находит благодаря труду, занявшись тем же искусством, каким была заполнена жизнь Данилы, встав на его же путь. И найдя его следы, она не остаётся пассивной, а властно требует и добивается возврата Данилы.

Прелестна Васёнка Золотой глазок из сказа «Ключ камень», которая обладала счастливым качеством находить лучшие, самые дорогие камешки. Это качество принесло ей много горя.

«Это, говорит, хитрости мало — хороше камешки обыскать, да немного они нашему брату счастья дают. Лучше о том надо заботиться, как ключ земли поскорей выволить. И тут расскажет: «Есть, дескать, камень — ключ земли. До времени его никому не добыть, ни простому, ни терпеливому, ни удалому, ни счастливому. А вот когда народ по правильному пути за своей долей пойдёт, тогда тому, который передом идёт и народу путь кажет, этот ключ земли сам в руки даётся».

Тогда все богатства земли откроются и полная перемена жизни будет. На то надейтесь».

Вот какие мечты, какие мысли, какая глубокая вера в творческие силы народных масс и её вождей заключены в обаятельных сказках

старого Сторожко. Стремление найти правильный путь заставляет искать и прислушиваться ко всякому проявлению новых истоков жизни. Это сказало особенно сильно во время пугачёвского восстания. В сказе «Кошачьи уши» особенно хороша девушка Дуняша, вызвавшаяся отправиться в Сысерть, чтобы узнать, что там делается. «Заметались люди в заводе и на руднике. Что хочешь, а узнать надо. Одна девочка из рудничных и говорит: «Давайте, дяденьки, я схожу». Народ посомневался, однако согласился. Дуняша всё разузнала и, преодолевая огромные трудности, проявляя много ума, ловкости и находчивости, вернулась к своим с важными вестями: по дальним заводам, по деревням и в казаках народ поднялся, а башкиры с ними же. Заводчиков да бар за горло берут, а главный начальник у народа Омелян Иванович прозывается».

И Дуняша оказалась не только храбрым разведчиком, а и отважным участником начавшейся борьбы, впереди всех оказалась. «Добежала, остановилась и кричит: «Хватай барских-то! Прошло их время, по другим заводам давно таких-то кончили».

Вот какие речи звучали в устах уральских девушек, вот как в народном творчестве запечатлена их смелость, отвага, мужество. А как чудесны фантастические образы сказов, в которых отражено всё многообразие огромных сказочных богатств Урала: девушка с золотой косой, огневуха-поскакушка, Синюшкин колодец и, наконец, сама «хозяйка» горы, ослепляющая своей красотой, богатством своих рядов, своих чудесных подземных дворцов, построенных из драгоценных камней и металлов.

Такие сказы могли родиться лишь там, где

природа сказочно богата, где действительность ярче любой фантазии, любого вымысла.

«Ведь какой у нас край, Иосиф Виссарионович! Безмерно богатый край, подлинная жемчужина Советского Союза», — писали рабочие Урала в своём новогоднем отчёте товарищу Сталину.

Это безмерное богатство края звучит во всех сказах старого Урала.

В этом же новогоднем отчёте приводятся имена лучших работников Урала, взявших обязательства удвоить выпуск продукции в 1943 году, обеспечить страну всем необходимым для разгрома врага и для полной нашей победы. Можно быть твёрдо уверенным, что эти обязательства будут выполнены. Ведь рабочие, давшие их, — плоть от плоти, кость от кости тех богатырей седого Урала, о которых так красочно рассказывает старый Сторожко. Сказы написаны прекрасным образным языком, в котором сохранилась вся прелесть народной речи. В каждом сказе сверкает мудрое спокойствие, весёлое лукавство, тонкая усмешка, столь свойственные народу Урала.

Книга прекрасно оформлена и иллюстрирована чудесными рисунками.

В каком-то новом свете открываются сейчас эти сказы об Урале, когда Урал показал не в мечтах, а в действительности всю свою силу и мощь. Сбылись мечты и грёзы, найден путь к Азов-горе, найден ключ земли. Мудрая природа открыла свои тайны, свои богатства народу, который впервые в истории поставил своей задачей осуществление счастья и свободы на земле для всего человечества.

М. Эссен.

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой,
К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А404. 8 печ. листов. Тираж 40.000. Зак. 386.
Подписано к печати 10/II—1943 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.